

# Павел Крусанов Голуби



КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ

Книжная полка Вадима Левенталя

Павел Крусанов

**Голуби**

ИД «Городец»

2020

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Крусанов П. В.**

Голуби / П. В. Крусанов — ИД «Городец», 2020 — (Книжная полка Вадима Левенталья)

ISBN 978-5-907085-86-2

Новая книга Павла Крусанова населена крохалими и пиздриками, катеньками и трёхзенками, голавлями и лысухами, апионами и рамфусами, морфо и фринами, кого здесь только нет – вплоть до таких тварей, которым человеческий язык и вовсе не повернулся дать имён. А вот голубями здесь называют себя люди – люди, которые живут на данной им Богом земле, будто птицы, которых питает Отец их Небесный.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907085-86-2

© Крусанов П. В., 2020  
© ИД «Городец», 2020

## Содержание

Катеньки, лебеди и Везувий	6
Собака кусает дождь	22
Плотина	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# **Павел Крусанов**

## **Голуби**

© П. Крусанов, 2020

© ИД «Городец», 2020

© П. Лосев, оформление, 2020

\* \* \*

## Катеньки, лебеди и Везувий

Чтобы впустую не жечь бензин, решили ехать на одной машине. В багажнике цукатовской «сузучки», стеснённый двумя рюкзаками, возился Брос – умный русский спаниель, дружелюбный по нраву и шёлковый на ощупь, – он то и дело высовывал нос из-за спинки заднего сиденья, на котором стояла картонная коробка с притихшими подсадными утками и резиновая лодка в чехле. Пётр Алексеевич сидел рядом с профессором, который несуетно, с достоинством вёл машину сквозь нарождающуюся рассветную синь.

Весна задержалась, но снег на полях уже сошёл, только в лесу иногда между стволов просвечивали грязно-белые языки издыхающих ноздреватых сугробов. Да и они по мере того, как машина скатывалась на юг, мелькали всё реже.

– Я, знаешь ли, сейчас литературу не читаю. Так – по специальности, – с крупницей соли в голосе говорил профессор Цукатов, время от времени одёргивая манжет на кожаной пилотской куртке, в обстоятельствах охоты немного щеголеватой: манжет мешал – цеплялся за ремешок часов. – Имеет смысл записывать то, что достойно записи. С библейских времён, с «Махабхараты» и Гомера, это правило всё больше разбавляет водянистая субстанция пустого слова. А теперь интернет и вовсе утопил в помоях само понятие смысла. И виной всему, чёрт дери, бездарное полуграмотное «я», которое тоже требует признания и бессмертия, как «я» воистину выдающееся. Вляпались – интернет, проповедуя свободу информации, нарушил иерархию. Мнение специалиста сейчас весит там столько же, сколько мнение первого встречного. И этот первый встречный не упускает случая влить в твои уши свою песенку – по большей части совершенно идиотскую.

Таков был ответ профессора на попытку Петра Алексеевича завести разговор о недавно нашумевшем романе, только что им прочитанном. Мысль Петра Алексеевича выглядела следующим образом: современная литература либо представляет идеи, предлагая с их помощью что-то *понять*, либо демонстрирует чувства, которые возбудить сама уже не в состоянии. И в том и в другом случае получается что-то вроде наглядного пособия в аудитории, где умудрённые преподаватели читают студентам лекцию: там, на этой таблице, как Христос, распят ленточный червь. Однако эти идеи и чувства – всего лишь художественная суэта, уловка, заячьи петли. Ведь автор, в действительности, – это действующая модель чистилища, убежища душ, где те с трепетом ждут решения своей судьбы. И он же господин этого убежища. А посему, главная его задача – определить герою жребий, от которого тому не отвертеться.

Несмотря на давность дружбы (пару лет вместе учились в университете, потом их дороги разошлись – один двинул в науку, другой в полиграфию, – но связь с годами не терялась), Пётр Алексеевич при встрече с Цукатовым порой ощущал с его стороны какое-то подспудное сопротивление, словно профессор заранее был не согласен со всем, что Пётр Алексеевич думает и говорит, но почему-то не спешил сообщить об этом напрямую. Приписывать причину этого упреждающего отрицания, иной раз отдающего снобизмом, приобретённому невесте где Цукатовым самодовольству Пётр Алексеевич не спешил – всё-таки годы дружбы обязывали если не к всепрощению, то к терпеливому вниманию. Хотя, конечно, нельзя было не заметить перемены: теперешний Цукатов, в отличие от того, давнего, мог легко позволить себе опоздать на встречу, если она была назначена не ректором, и демонстративно пропустить мимо ушей приветствие студентов, случайно встреченных на карельском просёлке. Словно профессор уже загодя знал о том или ином человеке главную тайну: не быть клушке соколом, – и не намерен был тратить на него лишнюю минуту жизни.

В ответ на небрежность по отношению к заведённому им разговору Пётр Алексеевич сообщил:

– Что касается литературы по специальности. В научной среде считается, будто каждый профессор должен написать книгу, которая принесёт ему славу. Но выдающихся открытий на всех не хватает, поэтому теперь, чтобы оказаться в фокусе внимания, профессора просто представляют взгляды своего предшественника в корне неверными и так выходят из положения. Чем значительнее был тот, над кем теперь глумятся, тем действеннее приём. Ведь это не трудно. У вас как? Если вздор подтверждён парой ссылок, это уже не вздор, а истина.

– В фундаментальной науке иначе, – со скрытой досадой отвечал Цукатов. – Там важна преемственность школы.

Пётр Алексеевич понял, что месть свершилась.

Годы знакомства приучили их не опасаться ни повисающих пауз, ни разогретого добела спора, однако при этом ничуть не сгладили углов, которыми при соприкосновении цеплялись их натуры. Профессор во всём любил порядок, и благодать его считал неоспоримой; Пётр Алексеевич был сторонником естественного бытия вещей. Когда Цукатов смотрел в ночное небо, он видел чудовищный, непозволительный кавардак – будь его воля, он расставил бы все звёзды по местам и там прибил, чтобы уже не сдвинулись. А как бы приструнил луну – представить боязно. Быть может, сохранил навек очерченной по циркулю и проложил ей неизменный путь, а может, навсегда стёр ластиком. Загадка. Пётр Алексеевич в свой черёд, имея власть над материей, в ночном небе ничего б не тронул – пусть будет так, как есть – просто б смотрел, топя в межзвёздной черноте потуги мысли, и, то трепеща, то ликуя, испытывал чувства.

Возможно, по этой причине (смирение перед заведённой пружиной мироздания) Пётр Алексеевич не усердствовал в замыслах, во многом полагаясь на удачу, и не впадал в иступление, когда не удавалось то или иное дело довести до точки. Цукатов же и самый малый труд всегда обставлял основательно, с лица до подкладки изучал вопрос, словно был уверен, что сам Господь Бог наблюдает, какую задвижку он выберет для дымохода дачной печи, и вердикт Страшного суда будет вынесен ему именно по результату этого выбора.

Мост через Топоровку ремонтировали. Похоже, в аварийном порядке – второпях даже не успели навести временного обходного. Пришлось давать крюк.

Свернув на объездную грунтовку, Цукатов остановился на обочине и достал планшет. Брос пискнул в надежде, что сейчас его выпустят на пробежку, но тщетно – в пути хозяин уже делал остановку, предусмотренную здоровым распорядком собачьей жизни, и необходимости ещё в одной не было. На электронной скрижали появились рисунки и письма. Вызвав дух карты, профессор повертел изображение пальцем, исследуя окружной маршрут.

– Километров тридцать, – прикинул Цукатов размах предстоящей загогулины.

Незнакомая дорога взбодрила. Здесь ноздреватых снежных языков уже не было и в помине. Кругом – охра лугов, сочная синь небес, прозрачные чёрные перелески, скрывавшие россыпи первоцветов, и тёмная хвойная зелень. Кое-где уже виднелись стрелки молодой травы, а по краям дороги иной раз встречалась проклюнувшаяся мать-и-мачеха. Земля холмилась и опадала – когда дорога взбиралась на пригорок, открывались широкие пейзажные дали с теряющимся в дымке горизонтом, скупые по цветам, чёрно-желтовато-бурые, но выразительные в своей аскетичной строгости. Деревни в этих местах выглядели обитаемыми – над крышами тут и там курились дымки, а поля лежали ухоженные и готовые к севу. Как будто и не было одичания земли, оставившего скорбный след по всему нечерноземью, где кровли совхозных коровников зияли провалами, а пашни давно сменились зарастающими пустошами.

Подсадных уток после охоты Цукатов намеревался подарить Пал Палычу. Сам он получил их от начальника университетской стройгруппы, страстного и умелого охотника, державшего с полдюжины подсадных на чердаке одного из учебных корпусов. А тут в корпусе затеяли ремонт – перекрывали крышу, – вот он уток и раздавал.

Когда приехали в Новоржев, Цукатов сообщил Пал Палычу о подарке.

– А ня надо, – рассыпая якающий псковский говорок, испортил церемонию благодеяния Пал Палыч. – Мне зачем? Я же на утку редко – вот только с вам, или ещё когда. А их – корми.

– Может, кому-то из ваших приятелей нужны?

– Так Андрею рыжему, – недолго думая, сообразил Пал Палыч. – Староверу из Михалкина. У него лодку брать. А тут отвяжет без печали.

Однако настроенный на щедрый жест Цукатов не хотел сдаваться:

– Пал Палыч, вы, помнится, про лайку говорили – будто к своим вымескам хотите одну породистую завести.

– Породная ня помешала б, – согласился Пал Палыч.

– Есть карельская медвежья. – Профессор поддёрнул манжет куртки и разложил по полочкам: – Пёс. Медалист по экстерьеру. Два года. Только собака домашняя – на охоту не поставлена.

– Поди, мядалист денег стоит. – Пал Палыч почесал темечко.

– Знакомые так отдают. Пропадает пёс в городе. Лайке воля нужна.

– А возьму, – махнул рукой Пал Палыч. – Натаскивать с мальства лучше, но ничего – и двухлетку можно.

Профессор был удовлетворён – пообещал привезти лайку на майские.

Прокатались до конторы охотхозяйства и оформили путёвки.

Пока Нина, жена Пал Палыча, накрывала на стол, Пётр Алексеевич поставил коробку с подсадными в парник и занёс в дом рюкзаки, а Цукатов покормил и прогулял юркого Броса. На небо понемногу нагнало облаков, но вид они имели безобидный – не грозили дождём, а просто плыли под куполом, как белая кипень по реке.

– Ня хочу ни в какой бы другой стране родиться, кроме как в нашей. – Тягая ложкой из тарелки щи, Пал Палыч всякий раз всасывал их в рот с коротким свистящим звуком «вупть», и брови его при этом взлетали на лоб птичкой. – И грибы, и ягоды, и рыба, и птица, и зверь всякий – всё есть, всё дано. К нам кто бы ни пришёл, а мы в природе выживем. Нигде такого нет. Нам можно любой строй, и мы будем жить легко, только ня загоняй нас в угол, ня лишай вот этого, природного. Законами, я в виду имею. И ня надо нам ни цари, ни секретари, ни президенты – никого ня надо. Только дети – они, если что, и помогут. Ну, и окружение...

Пётр Алексеевич налил Пал Палычу и себе в рюмки водку. Цукатову не налил – Цукатов за рулём.

– Главное, будь сам человеком, – продолжал мыслить Пал Палыч. – Бяри столько, сколько сможешь съесть, но ня больше. Жадничать ня надо. Вот якут бярёт оленину – ему положено. А нам тут ничего ня положено – ни мясо, ни рыбину. А вы говорите: браконьер...

– Мы не говорим, – сказал профессор.

– А Пётр Ляксеич говорит.

– Было дело, – подтвердил Пётр Алексеевич.

– Тут как смотреть. – Пал Палыч поставил на стол пустую рюмку, взял ложку и сделал очередное «вупть». – Тут как бы да. Но нет. Просто долю бяру свою. Ты видишь – один лось остался, так ня тронь его, пусть живёт. Ня то вон на засидке кабана жду – а он орёт, лось-то, кругами ходит километра на три, туда-сюда, кричит. Осень – гон идёт. Вот он и ищет самку да чтобы с кем подраться. А он один в округе – где там найдёшь. У меня душа трещит.

– Так кто ж до того довёл? – укорил хозяина в непоследовательности Пётр Алексеевич. – Не ваши ли бригады?

– За других ня скажу, – схитрил Пал Палыч, – а я на охоте последнего ня возьму. Да и в бригаде ня хожу давно. А и ходил – финтил по мелочи. – Припомнив что-то, Пал Палыч рассмеялся. – Все стоят на зайца, ждут, когда он круг даст. А зачем мне ждать? Он, заяц, пошёл на полкруг, а я туда, в тот конец, уже бягу – я ж по бегу спортсмен был – и там зайца взял. Попярёд всех. Так и бегал...



Пётр Алексеевич налил по второй.

– В жизни как? – обобщил Пал Палыч. – Ты мне ня вреди, и я тябе ня наврежу. А то и помоги, так и я помогу. Этот маленько подсобил, другой тоже, глядь, и сладилось дело. Так-то по-честному. А то – браконьер... – Пал Палыч понемногу распалялся. – А кто это придумал? Человек придумал. Да ещё в корыстных целях – мне можно, а ты ня тронь. За браконьерство я тебя данью... ну, штрафом обложу. Я буду, мне всё позволено, а ты ня тронь – вот и всё мышление. Я для себя людей давно поделил на три категории воров. Ну, если о тех, которые воруют. Первая, – Пал Палыч приподнял и снова поставил на стол миску со сметаной, как бы уполномочив её представлять первую категорию, – это воры, которые шушарят, чтобы барыш нажить, с целью обогащения. Такая категория вядёт к подрыву государства. Вторая, – рядом со сметаной лёг ломоть хлеба, – это я и такие же, как я. Мы ворует, чтобы прокормить сямью. Вот так вот: в природе жить и приворовывать – кабанчик, сетка – ня в прямом, конечно, смысле. Те государство подрывают, несут ущерб, а мы, значит, кормим сямью – ня больше, мы на том ня богатеим. Если начинаем богатеть, то в ту категорию перяходим, в первую. Третья категория, – возле хлеба встала рюмка с водкой, – это люди слабые, опустившиеся, которые себя в жизни ня нашли. Эти вот тут своровали, тут продали, тут пропили. Ня уголовные – простые люди.

– Да вы, Пал Палыч, философ, – выставил оценку Цукатов. – Сократ.

– Шурупим помаленьку. – Пал Палыч, чокнувшись с Петром Алексеевичем, опорожнил третью категорию. – И вот как надо. Первую категорию, что касается суда – сажать. Вторую – оставить в покое, ня трогать. Третью – судить ни в коем случае няльзя, её надо вылечивать, есть у нас медицинские учреждения. Этих людей надо восстанавливать, чтобы они перяшли во вторую категорию. Понимаете? Сямью содержи, рыбину поймай. Вот я поймал, – Пал Палыч указал на блюдо с жареной рыбой, ещё утром сидевшей в его сетке на озере, – так я ей накормил, а ня сгноил, и лишнего ня взял. А ты, который в первой категории, ты свиноферму завёл, дерьмо в реку спустил – рыба центнерами всплыла. И тябе штраф – две с половиной тыщи! Это правильно? Так что ж, меня за рыбину штрафовать? – Пал Палыч выдержал интригующую паузу. – Вот моя цель – ня переходить ни в третью категорию, ни в первую. Дяржись на второй, и всё будет хорошо и в сямье, и всюду.

– Балабол, – сказала Нина. – Людям слова вставить ня даёшь.

– Наша ваш ня понимаеш, – хохотнул Пал Палыч и продолжил: – А у нас всё ня так. Сломаем до основания, а после строим. А что мы строим, если всё поломано? Умный человек ломать ня будет, он будет ремонтировать.

Сообразив, что сейчас хозяин свернёт к политике, Пётр Алексеевич перевёл стрелку:

– Вот вы, Пал Палыч, говорите, будто природа у нас такая расчудесная, что лучше не бывает.

– А так и есть, что нету лучше, – подтвердил Пал Палыч.

– А как же зима? Ведь зимой жизнь замирает, кутается в снега. Кругом ничего нет – пустой звук.

– И зима – тоже хороша, – не дал природу в обиду Пал Палыч. – Я за зиму что скажу? Мы пяретруждаемся, изнашиваемся за лето, потому что работы в деревне много – иной раз до двенадцати часов. Светло ведь. А зимой, я заметил, как семь-восемь – так спать хочется. Я больше сплю, чем работаю. Воздействует на меня – так природа в человека заложила, так им руководит. Чтобы ня снашивался быстро, чтоб ня ломался от усердия. Значит, и зима на месте.

Днём, прежде чем отправляться на вечерку, Цукатов решил съездить в лес – показать Бросу рябчика. Собрался за компанию и Пётр Алексеевич.

Рябчик – однолюб, не то что глухарь и тетерев. Ещё с осени петушок выбирает себе подругу и пара зимует вместе. Весной, после тока, сообща заботятся о потомстве – показывают цыплятам ягодники, оберегают от хищника, отважно уводя врага от затаившегося выводка.

За то, что оба родителя равно растят и пестуют птенцов, весенняя охота на рябчика запрещена. Цукатов сказал, что стрелять не будет, только подманит пищиком-пикулькой, чтобы Брос поглядел, а может, верхним чутьём и учуял. Что до повадок, про них объяснит собаке в августе: научит искать птицу, поднимать на крыло и сажать на дерево, но не облаивать – ни-ни, – поскольку рябчик этого не терпит, а бежать к хозяину с докладом и отводить в нужное место. Однако Пётр Алексеевич не верил, что, подманив петушка, профессор удержится от выстрела. А стрелял он метко и на охоте был добычлив. И что тогда? В какой категории воров по систематике Пал Палыча окажется Цукатов?

– Тут пойдёте – тут нет рябчика, – сказал Пал Палыч. – За Теляково ехать надо, и дальше – за Голубево, за Подлипье. Он там. Там лес другой, сосён нет совсем, только ёлка да дерявины.

Сам Пал Палыч, как выяснилось, компанию им, увы, не составит ни сейчас, ни на вечерке – к нему на четыре дня приехал погостить сын, после срочной службы нанявшийся в Петербурге матросом на речной буксирчик. Вместе с ним Пал Палыч пропадал на строительстве дома для замужней дочери, уже родившей ему двух внуков. Сын и теперь был там, пообедав прежде гостей. На вопрос Цукатова, зачем дочери свой дом в Новоржеве, раз она живёт в Петербурге и копит с мужем на квартиру, Пал Палыч отвечал, что, мол, ничего, пусть будет. Ведь строит он по большей части сам – в основе дочкин сертификат с материнским капиталом, на него выписан и привезён лес, доставлены и положены краном бетонные плиты на фундамент, – а в остальном всё своими руками. Так и растёт дом помаленьку своей силой, как гриб. Но к осени – кровь из носу – надо вывести под крышу. «А если в стране бядя? – не питая надежд на будущее, воображал Пал Палыч. – Смута, и всё опять посыплется? Так мы с Ниной в её дом перяйдём, а свой, большой, детям отдадим. Деньги нужны – продавайте, а нет – живите и хозяйство дряжите, прокормитесь».

Окрестности Новоржева Пётр Алексеевич знал, разумеется, не так хорошо, как Пал Палыч, но понял, про какой лес тот толковал. Из этих краёв был родом тесть Петра Алексеевича, которому Пал Палыч от широкой души помогал вести пчелиное хозяйство: объединял рои, смотрел магазины, вырезал в детке маточки, весной открывал лётки, осенью закладывал в ульи пластины от варатоза. Когда приходила пора снимать магазины и качать мёд, к делу подключались и Пётр Алексеевич с женой. Тесть был в годах и жил здесь только летом, поэтому на весенней и осенней охоте Пётр Алексеевич, чтобы не протапливать полдня простывший деревенский дом, останавливался у Пал Палыча, благо в просторных его хоромх углов было много. А если приезжали шарагой – втроем и более, – тогда уже Пал Палыча не беспокоили, топили печь в избе.

Добравшись до ельника, разошлись в разные стороны. Пётр Алексеевич решил просто побродить по лесу наудачу – вдруг получится кого-то взять с подхода, а Цукатов с Бросом двинулся в чащу, попискивая пищиком и прислушиваясь – не отзовётся ли рябчик. Тут компанией ходить не стоило, а то недолго и *подицуметь* осторожную птицу – Цукатов даже спустил штанины поверх голенищ сапог (он был в обычных сапогах – болотники лежали в машине до вечерки), чтобы прошлогодняя трава, ветка куста или сухая хворостина не били по резине.

Ельник был мрачноват и сыр, однако и тут закипала весенняя жизнь, наполняя воздух запахами проснувшейся земли и трелями спорящих между собой за самок пичуг. Новая зелень, опричь не меняющих цвета мха и брусники, только ещё пробивалась из лесной подстилки, но на опушке в молодом осиннике Пётр Алексеевич набрёл на уже расцветшую ветреницу, густо обсыпавшую бурую подкладку прелого опада. Нежные лепестки были не белыми, а слегка лиловыми, какого-то редкого, невиданного оттенка. Пётр Алексеевич наклонился, погладил цветок пальцами – один, другой, третий – и обрадовался. Рядом свежо зеленел чистотел – этому и зима нипочём. Потом в осиннике ему повстречался дуб, раскидистый и крепкий. Его обильная прошлогодняя листва шуршала под ногами. Дуб был кряжист и мускулист, как бывалый

атлет – впрочем, все деревья в лесу имели заслуги, и весна уже готовилась каждую вершину увенчать зелёным венком...

Петру Алексеевичу было хорошо здесь, в этом оживающем лесу, среди набухающих и лопающихся от избытка тихой силы почек, среди тёмных еловых крон, бородатого лишайника и звучной птичьей болтовни, не умолкающей ни на миг. Он был здесь не один – и пусть лесная живность не спешила показаться на глаза, пусть осторожничала и таилась – ведь и от волка таятся заяц и барсук, – пусть он не был для леса и его обитателей *своим*, каким был тот же волк, но и чужим себя он здесь не чувствовал определённо.

К машине Пётр Алексеевич вернулся первым, так и не сняв ни разу с плеча ружьё. Вскоре показался и Цукатов. Вернее, сначала шёлковой, пятнистой чёрно-белой пулей подлетел Брос, исполнил, ласкаясь, у ног Петра Алексеевича восторженный танец, а после вышел из чащобы и хозяин.

– Нет рябчика, – сказал Цукатов. – Откликнулся два раза, а на глаза не показался.

Тут оба услышали глуховатое тюканье, как будто кто-то выбивал по дереву приветствие морзянкой. Неподальёку по осине скакал зелёный дятел в красной шапке, садился на хвост и простукивал тут и там древесный ствол. Пётр Алексеевич и сообразить не успел, как Цукатов вскинул ружьё, прицелился и вдарил. Дятел пал.

– Брос, подай! – строго скомандовал профессор и пояснил Петру Алексеевичу: – Чучело закажу. У нас как раз в музее нет такого.

Брос бережно принёс обвисшую тушку и отдал в руки Цукатову.

– А что научное сообщество? – поморщившись, спросил Пётр Алексеевич. – Не осуждает?

Он не любил, когда стреляли в тех, кого охотник обычно не считал добычей. Но для музея... Это, разумеется, совсем другое дело.

Цукатов обстоятельно растолковал, что охота – это не уродливый и грубый атавизм, не убийство в заведомо неравной схватке, где понапрасну гибнут безобидные зверюшки в пушистых шкурках и пёстрые птицы. Нет, чёрт дери, охота – едва ли не последняя возможность вступить в глубокое и полное общение с природой, погружение в то первобытное состояние единства с жизнью, которое уже давно ушло из наших будней. Вот если, скажем, законный лов, то тут охотники – это дружина, братство, где уже нет места вчерашним должностям и репутациям: армейский генерал, директор цирка, хозяин сотовой сети ничуть не выше остальных и готовы склониться перед авторитетом рядового егеря. Тут каждый радостно ввергается в архаику, воссоздавая исходные, но, увы, утраченные связи, в которых важны лишь личные умения, природное чутьё и доблесть.

При этих словах Цукатова Пётр Алексеевич припомнил эпопею классика – ту самую хрестоматийную историю, где ловчий Данила в сердцах грубит и грозит своему барину, графу Ростову, арапником, а тот в ответ конфузится. Что ж, здесь с профессором нельзя не согласиться. Охота – чистая мистерия, где все участники с головой уходят в какую-то утопию, в безвременье, в мир эпоса и богатырской былины, неотделимые от первозданной природы, всё ещё полной восторгов, страхов, ярости и сказок.

– И даже если не законная охота, а просто так – один с собакой и двустволкой бродишь, – отливал круглые фразы Цукатов, – то и тогда ты выпадаешь из тарелки. Слышал такое выражение: наедине с природой... – Профессор поднял взгляд и, почувствовав легковесность довода, усмехнулся – лирика не была его коньком. – Охотник по зову сердца, по натуре – это совсем другое дело, чем тот, кто берёт ружьё из любопытства. Представь только, что может сделать человек из увлечения, из страсти, *по охоте*. Это же одержимый тип, стахановец! Ему здоровье, жизнь – пустяк! Такой, другим на удивление, своею волей идёт на риск, на испытания, на тяготы – двужильная натура, не ровня остальным! Таиться на зорьке в камышах... Сидеть ради

одного выстрела часами на болоте... День проходить по лесу, упустить добычу, но не впасть в уныние, а наоборот – воодушевиться уважением к хитрому зверю... – Цукатов почесал за ухом, чувствуя, что слишком разогнался и пора уже итожить. – Словом, главное на охоте не убийство, а состязание. Охотник не испытывает кровожадности. Он ищет единства с этими дебрями, с этим озером и этим полем... Тут, чёрт дери, не загородный пикник, тут растворение в стихии.

Собственно, Пётр Алексеевич не спорил – он и сам не раз всё это уже прочувствовал, но высказаться профессору не мешал, соблюдая правила дискуссии, главное из которых – не трубить одновременно.

– Тут вот какое дело, – дождавшись паузы, вступил Пётр Алексеевич. – Перерождение человека из трансцендентного субъекта в хуматона, составляющее суть процесса современного антропогенеза, характеризуется нарастанием в нас градуса бесхитростного умиления. – Книгу «Последний виток прогресса», откуда Пётр Алексеевич почерпнул эти сведения, в своё время дал ему почитать коллега Иванюта, державший палец на пульсе культурных новинок. – Уже сейчас соцсети утопают в потоке фотографий и роликов щеночков, котиков, енотиков и прочих мягких игрушек, а в среде юной поросли из года в год набирает размах идейное веганство. Недалеки те времена, когда из электронных библиотек – бумажных не останется, их и сейчас уже расценивают как пожароопасный склад макулатуры – начнут изымать книги Сабанеева и купировать у Толстого сцены охоты. Чтобы не расстраиваться за меньших братиков.

Цукатов моргал, прикидывая, как следует отнестись к этой эскападе. Пётр Алексеевич вещал:

– Следом это бесхитростное умиление начнёт вводить в сферу *мимими* рептилий, гнус и тараканов. Тогда уже и комара, втыкающего хобот в твоё тело, трогать не моги, не говоря уже о лабораторной крысе или дрозофиле. Тут разом и конец – и охоте, и твоей науке.

Сообразив, что он имеет дело с футуристической фантазией, профессор улыбнулся, но тему развивать не стал. Вместо этого поинтересовался: нет ли поблизости озера или пруда, где могут сидеть гусь и утка? Один пруд был совсем рядом – у обезлюдевшей деревни Голубево, где остался единственный обитаемый дом, да и тот заселялся только летом, а ещё четыре озерца Пётр Алексеевич знал поблизости – между Теляково и Прусами. Решили, если позволит время, объехать все.

Весной брать водоплавающую птицу разрешено только с чучелами и подсадными, с подхода нельзя, но, как уже знал Пётр Алексеевич, большинство охотников легко пренебрегут при случае запретом, как на пустой дороге большинство водителей без зазрений совести пренебрегают скоростным режимом. Даёт о себе знать опустошающий азарт. Таков человек – иначе был бы чистый Гуго Пекторалис.

Оставив машину на едва набитой дороге, осторожно подошли к обширному пруду, заросшему по берегу густой, а местами и непролазной лозой (сейчас голой, с едва раскрывшимися коробочками пушков на молодых ветвях, оплетённой кое-где сухим прошлогодним вьюном), и, пригнувшись, посмотрели сквозь просвет в кустах. На глади сидели штук восемь-девять крякв – одни, поплавав выставив вверх хвосты, ныряли и пощипывали придонную траву, другие неторопливо плавали без видимого дела, оставляя за собой расходящиеся водяные дорожки. Цукатов затаился возле просвета, непререкаемым шёпотом и твёрдым жестом усадив Броса на землю, а Пётр Алексеевич, стараясь не подшуметь утку, с воспламенённой кровью двинулся, скрываемый чёрными зарослями, вдоль берега в поисках позиции под верный выстрел.

Стрелять начали почти одновременно. Птица тут же с хлопаньем и плеском встала на крыло, взмыла и ушла за возвышающиеся над зарослями голые кроны деревьев. На воде остались два селезня и утка. Ещё один подранок ушёл в гушину на противоположном от Петра Алексеевича берегу. Две утки лежали неподвижно, одна вздрагивала и дёргала крылом – её профессор, перезарядив ружьё, добил.

Брос притащил добычу. Подхватив трофей за кожаные лапы, Пётр Алексеевич понёс уток к машине, а Цукатов, обойдя пруд, полез с собакой в заросли искать подранка.

Провозился профессор довольно долго.

– Нет нигде, – сказал, вернувшись. – Как сквозь землю.

Он распахнул дверь багажника, и Брос, виновато пряча взгляд, запрыгнул внутрь.

Цукатов сел за руль и завёл двигатель.

– Хорошая штука, – огладил он кожаный рукав только что испытанной в кустах пилотской куртки. – Ни ветка, ни колючка не цепляют.

На круглом озере возле Прусов (из четырёх намеченных это было самое большое), сразу за сухим прибрежным тростником, недалеко друг от друга сидели стайка белобокой чернети и пара желтоклювых красавцев кликунов. И тех и других можно было достать с берега выстрелом.

Профессор и Пётр Алексеевич подкрадывались осмотрительно, но их заметили – пугливая чернеть мигом взлетела, не подпустив охотников, а кликуны только покосили глазом и, не теряя достоинства, неторопливо двинули вдоль серого тростника в сторону. Лебедей здесь не стреляли, и те излишне не осторожничали. А зря. Цукатов проворно подскочил к берегу, вскинул ружьё и дублетом уложил ближайшего белоснежного красавца. Второй, уstraшённый грохотом, торопливо взмахнул роскошными крыльями, разбежался по воде, взлетел и ушёл вслед за чернетью.

– Ты что делаешь? – опешил Пётр Алексеевич.

– А что? – не понял Цукатов.

– Здесь лебедей не бьют.

– Почему?

– Потому что – красота.

– Ерунда. На Руси лебедя на стол испокон века подавали.

– Жлоб ты, ей-богу, – в сердцах припечатал профессора Пётр Алексеевич и пошёл к машине.

Он знал Цукатова и видел, что тот искренне не понимает своей неправоты, поэтому не столько злился, сколько скорбел.

Лебедь был велик для спаниеля – такую большую птицу Бросу, должно быть, подавать ещё не приходилось, и он страшился. В болотниках тоже не подойти – летом Пётр Алексеевич иной раз купался здесь и знал глубины. И не разденешься – вода апрельская, студёная. Пришлось профессору надуть лодку. В итоге на остальные три озерца времени уже не хватило – надо было возвращаться к Пал Палычу, ощипывать, палить и потрошить добычу, а после с подсадными и чучелами (Пётр Алексеевич хранил десяток чучел у Пал Палыча) спешить в Михалкино на вечерку.

– Ты, главное, Нине не показывай, – посоветовал Цукатову Пётр Алексеевич. – Ощипли втихаря, скажешь – гусь.

– Что ещё за предрассудки?

– Ты человек чёрствый, жестоковыйный, толстокожий – тебе всё равно. А она огорчится – она женщина хорошая, – объяснил Пётр Алексеевич. – А кто хорошую женщину огорчит, того жизнь накажет.

– Не сочиняй. – Профессор усмехнулся. – Нина на земле росла – тут не то что лебедя... тут котят в ведре топят.

– Как знаешь, – не стал спорить Пётр Алексеевич.

Лебедя Цукатов, конечно, засветил.

Пал Палыч, примчавшийся со стройки, чтобы выдать припрятанный в гараже мешок с чучелами, сказал профессору:

– Идите в парник щипать, чтобы соседи ня видали.

Нина и впрямь огорчилась – взгляд её взблеснул, потом затуманился, лицо побледнело, и она, сникнув, молча ушла в дом.

Утиные и лебединые потроха профессор разложил по одолженным у Пал Палыча банкам и залил спиртом, чтобы отвезти в СПб и изучить на предмет паразитов. Обычное дело – зоологический учёный интерес. Соратники по охоте, поначалу недоумевавшие, со временем удивляться перестали: ничего не попишешь – такая у человека работа.

Разделавшись с дичью и положив её, пахнущую палёным пухом, в большую, отдельной тумбой стоящую морозильную камеру (зелёный дятел полетел туда как был – в красной шапке и изумрудных перьях), отправились на Михалкинское озеро, чтобы успеть до сумерек подыскать место, разбросать на воде чучела и обустроиться в камышах. Подсадных рассадили в две небольшие коробки, тоже одолженные у хозяев – охотиться собирались с двух лодок.

Сверкающее предвечернее небо подёрнула на востоке пепельная пелена. За мостом через Льсту, с правой руки, разбегалось вширь щетинящееся тут и там вихрами кустов и молодых берёз поле, теперь заброшенное, но прежде пахотное – Пётр Алексеевич помнил его сплошь покрытым, как пёстрым ситцем, цветущим голубыми искрами льном. По полю, напротив стоящих за рекой Прусов, шли две желтовато-серые косули, едва заметные на фоне жухлой прошлогодней травы. Пётр Алексеевич толкнул профессора в плечо и молча показал на изящных белозадых красавиц – до них было метров двести. Цукатов съехал на обочину, не заглушая двигатель, остановился, достал из бардачка бинокль и, опустив стекло пассажирской дверцы, долго смотрел на ответно замершую парочку, поводящую большими ушами и настороженно поглядывающую в сторону автомобиля.

– Хороши, чёрт дери, – похвалил грациозных оленков профессор. – А на востоке Ленинградской их нет. Ездил на кабана за Пикалёво – туда, на границу с Вологодской – там охотники косуль в глаза не видели.

Что хвалил профессор – зримую красоту зверя или тушу воображаемой добычи, – Пётр Алексеевич не понял.

Снова вырулив на дорогу, Цукатов притопил педаль.

В Баруте и Михалкине издавна жили староверы – какого толка, откуда здесь взялись, как и почему? – деталей не знал даже всеведущий Пал Палыч. С годами народ в округе перемешался, однако славу свою сёла сохранили: стоявшие по соседству, были они знамениты огурцами – благодатная ли почва, вода или какой-нибудь другой секрет, но только огурцы со здешних грядок считались лучшими не то что в районе, а может, и во всей области. За счёт огурцов селяне и жили, свозя урожай на рынки в Новоржев и Бежаницы. Пётр Алексеевич не раз пробовал эти дары природы и даже помогал жене закатывать их в зимние банки. Теперь он не смог бы наверняка сказать, в чём именно состояла их прелесть, но такова была сила легенды, что, хрустя в июле михалкинским огурчиком, он всем нутром ощущал его несомненное превосходство над любым другим.

Остановились возле избы рыжего Андрея. И дом, и хозяйственный двор отгораживал от улицы добротный забор. Впрочем, ворота были с обманчивым радушием открыты. Цукатов и Пётр Алексеевич вышли из машины и встали возле ворот – они не первый год поддерживали через Пал Палыча знакомство с Андреем, но тот ни разу не пригласил их не то что в избу, но и в надворье. А между тем, и Пётр Алексеевич, и Цукатов, что ни случай, везли ему гостинцы – дробь, капсули (Андрей был бережлив и заново снаряжал отстрелянные гильзы) и вот теперь – подсадных.

На крыльцо вышел хозяин, лет тридцати пяти, среднего роста, лицо добродушно-хитроватое, в веснушках, взгляд острый, умный, волосы и борода – огонь. Пал Палыч ещё перед

обедом звонил ему и говорил о лодке. Подойдя к воротам, Андрей степенно поздоровался с гостями за руку и протянул ключ от лодочного замка. Цукатов принял.

– Помните, какая? – спросил Андрей и подсказал: – Голубая, с зелёными скамьями. Вёсла в лодке – цепь в уключины продета.

– Разберёмся, – заверил Цукатов.

В юности, не поступив с первого раза в университет, Цукатов год отработал на заводе учеником фрезеровщика, на основании чего считал себя знатоком простонародных нравов и умельцем вести *правильный разговор* с человеком труда, насквозь прозревая его ухватки. Хотя тут и без микроскопа было видно, насколько рыжий хозяин непрост.

– Что утка? Есть на озере? – осведомился профессор.

– Маленько есть. – Хозяин сощурил лукавые глаза.

– А гусь?

– И гусь садился. – Рыжая борода величаво качнулась. – Вы всех не бейте, нам оставьте.

– Оставим, – пообещал Цукатов. – Вечёрку с подсадными отсидим и, может, утреннюю зорьку. Если не проспим. А после – подсадные ваши.

– Добро, – кратко, с достоинством ответил Андрей. – Тогда ключ завтра и вернёте. Спасай вас Бог.

Подъехали к берегу, выпустили на волю Броса и переобулись в болотники. Вода в озере почти не поднялась: зима была мало снежной, весноводье – скупым и коротким. Понемногу смеркалось – впору было поспешить.

Надули лодку, поделили чучела и договорились так: Цукатов с Бросом сядут в плоскодонку, а Пётр Алексеевич возьмёт одноместную резинку.

Миновав сухую осоку и камыши, сквозь которые к лодочным привязям был пробит проход, вышли на открытую воду. Пётр Алексеевич помнил, что если плыть влево вдоль берега, то там, за мысом, вскоре начнётся череда камышовых заводей и береговых загубин, где они с Пал Палычем прошедшим августом стреляли утку с лодки. Туда он и решил направиться, поглядывая, где на воде качаются пёрышки – верный знак, что утка здесь уже садилась. Цукатов погрёб прямо, вглубь озера, где виднелась цепочка сливавшихся и распадавшихся камышовых островов – он намеревался сесть в засидку там.

Поодаль с места на место перелетали парами и небольшими стайками нырки и кряквы, над кромкой берега звонко кричали чибисы (здесь говорили «пиздрики»), плавно махали крыльями вездесущие вороны, какие-то мелкие птицы в бурой прибрежной осоке невысоко вспархивали и как-то зло попискивали, словно уже исчерпали в состязании всё благозвучие своих голосов и теперь просто сквернословили. Ветер стих, лишь изредка покачивая камышины, но не оставляя следа на глади вод. Вдали на постепенно темнеющем, однако всё ещё посверкивающем зеркале паслись утиные табунки и несколько длинношеих лебедей. Гусей не было видно ни на воде, ни в огромном небе.

Потратив на поиски примерно четверть часа, Пётр Алексеевич приглядел довольно обширную заводь со следами утиной днёвки и удобными камышовыми зарослями, в дебрях которых легко можно было укрыть лодку. Замерив веслом глубину, Пётр Алексеевич размотал привязи грузил на чучелах и живописно расставил стайку, потом достал из коробки тут же заголосившую подсадную, привязал к ногавке бечёвку с тяжёлым железным болтом и определил утку возле компании пластмассовых сородичей. Та первым делом раз-другой окунулась с головой в воду, освежая перо.

Как смог, Пётр Алексеевич разогнал резинку и врезался широким носом в камыши, стараясь засадить лёгкую лодочку как можно глубже в шуршащие заросли. Глубоко не получилось. Тогда он прощупал веслом дно и осторожно спустил ногу в болотнике за тугой борт. Ничего, встать можно. Пётр Алексеевич подтянул лодку так, чтобы зашла в гущину целиком,

с кормой, потом прикрыл камышом со всех сторон, оставив *прогляды* на заводь, после чего удовлетворённо уселся на доску скамьи.

Ружьё положил на колени, нащупал в кармане куртки фляжку с коньяком, поудобнее поддёрнул патронташ, из другого кармана достал манки – на утку и гуся – и повесил их на шею. Всё – готов.

Подсадная в меркнушем свете уже завела монотонный утиный запев.

Селезень налетел, когда солнце ещё не закатилось. Позволив ему с шумом сесть на воду, Пётр Алексеевич ударил из нижнего ствола – дробь рассыпалась по воде, зацепив селезню зад и выбив из хвоста перо. Он дёрнулся в сторону, распахнул крылья, но вторым выстрелом, выцеливая так, чтобы не задеть ни подсадную, ни чучела, Пётр Алексеевич его положил. Пришлось выбираться из камышей за добычей, а потом снова прятать лодку в гущину.

Небо на востоке потемнело, запад озаряла акварельная, уже не слепящая розовая полоса, высвеченная упавшим за горизонт солнцем, ближе к зениту её сменяла густеющая синь, на фоне которой чернели растянутые цепочкой брызги облаков. Похолодало – пару раз Пётр Алексеевич приложился к фляжке. Подсадная голосила без устали, а когда всё же переводила дух, Пётр Алексеевич кричал за неё, поднося к губам манок. Поначалу дул и в гусиный, но вскоре перестал: гуся на озере определённо не было – ни резкого клика с воды, ни поднебесного хора пролетающего клина. Да и утка не баловала – за час на озере в разных концах гроыхнуло выстрелов шесть-семь, не больше.

Показались два селезня, пошли, снижаясь, по дуге к заводи, однако повернули, передумав садиться. Пётр Алексеевич пальнул дублетом в угон, но то ли промазал, то ли на излёте не достала дробь. Зато обрадовала лебединая стая – примерно дюжина белых красавцев, вытянув шеи, пронеслась прямо у него над головой так низко, что был слышен тугой свист махового пера. Сели где-то за камышом, на чистой воде – с засидки не увидеть.

Пётр Алексеевич прислушивался к отдалённым птичьим крикам, всплескам воды – кормился в озёрной траве карась и линь, – переводил взгляд с гаснущего горизонта на нежно подсвеченный бледно-алым бок высокого облака, невесть откуда выкатившегося на западную окраину неба, и изредка прикладывался к фляжке, согревая стынувшую под ночным дыханием весны кровь. Его охватило благодное умиротворение, захотелось раз и навсегда опростить свою жизнь, вычеркнуть лишнее, сделать её подвластной распорядку природных перемен и ничему иному, забыть суету будней и отринуть путы пустой, имеющей ценность лишь внутри своего пузыря, городской тщеты. Но состояние счастливой созерцательности, в которое он погрузился, не предполагало никаких усилий во исполнение желаний. Вот если бы случилось всё само собой, не требуя от него твёрдых решений, внутренних усилий и бесповоротных действий, вот бы тогда... Бац, и вовек отныне – радостная полнота и осмысленное единство с этой гаснущей зарёй, облаком, плеском плавника в камышах, и растворение во всём, и погружение в блаженство... Вот было б счастье! Такое с Петром Алексеевичем случалось и прежде. Разумеется, всё заканчивалось возвращением в кабалу текущих дел, мелочных самоутверждений, мечтаний о перемене участи и власти над обстоятельствами, которые (мечтания), увы, обещали в остатке лишь тоску о несбывшемся.

Когда стемнело так, что чучела и впустую побрякивающая подсадная стали едва различимы, Пётр Алексеевич вытолкнул веслом лодку из камышей и принялся собирать пластмассовых кукол, сматывая на предусмотренные под их брюхом зацепы бечёвки с грузилами. Следом затолкал в коробку отбивающуюся подсадную.

Вокруг было черно – всплывший на звёздное небо месяц едва высекал из воды блики: рассчитывать на то, что он озарит поднебесный простор, не приходилось. Пётр Алексеевич позвонил Цукатову. «Уже возвращаюсь», – сообщил тот.



Не столько видя береговую стену камыша, сколько ощущая её каким-то дремучим, но не безошибочным, чутьём, Пётр Алексеевич погрёб вдоль берега лицом вперёд, благо тупорылая резиновая лодка одинаково легко шла в обе стороны. Несколько раз влетал в заросли и путался в траве веслом. Наконец обогнул мыс и увидел метрах в пятидесяти свет фонаря. Достал из кармана свой, зажёг и направил луч на огонёк. Это был Цукатов на плоскодонке. Пётр Алексеевич поспешил к нему.

Оказалось, у профессора проблема: он уже минут десять искал проход в тростнике к лодочной привязи, возле которой они оставили на берегу машину, и не находил. Стали светить в два фонаря – повсюду, вырванная из темноты, виднелась сплошная стена тростника. Какое-то время рыскали вдоль неё – безрезультатно. Наконец Петра Алексеевича осенило.

– Мне на резинке не встать, – сказал он Цукатову. – Посвети поверх зарослей – машина блеснёт.

Цукатов так и сделал – встал и широко мазнул по берегу лучом. Вдали сверкнуло лобовое стекло. Выяснилось, они ищут не там – проход метрах в тридцати левее. Туда они тоже совались, но ночью в свете фонаря всё выглядит совсем иначе, чем днём, и проход потерялся в отбрасываемых лучом ползучих и шевелящихся тенях.

Плоскодонку, продев цепь в уключины вёсел, примкнули к столбу со скобой. Чтобы не возиться утром с насосом, резинку сдвигать не стали – примотали страховочной тесьмой и скотчем на крыше к перекладинам багажника. Одну за другой – довольно грубо – Цукатов бросил коробки с подсадными на заднее сиденье.

– Ты к ним совсем без уважения, – заметил Пётр Алексеевич, спуская до колен отвороты болотников.

– За что ж их уважать? – Цукатов переобувался в замшевые ботинки. – Они же селезней на смерть выкрякивают.

– Ты ведь не селезень. – Пётр Алексеевич сел в машину. – Для тебя стараются.

– Знаешь, как охотники подсадных зовут?

– Как?

– Катями. – Профессор запустил двигатель.

– Как-как?

– Ну, кати, катеньки...

– Почему?

– А вот послушай. – Цукатов врубил дальний свет. – Одну из лучших пород подсадных, самых голосистых, вывели в своё время в городе Семёнове Нижегородской губернии. Давно дело было, ещё до исторического материализма. По тем временам в Нижнем проститутки Катями звали. Ну, как в Турции сегодня всех русских девушек – Наташами. Сообразил? Оттуда и повелось.

– Что ж тут соображать. – Пётр Алексеевич почесал щетину. – Не уважаешь, значит, проститутки...

Ехали медленно, Цукатов внимательно оглядывал путь – хоть фары и выхватывали из темноты дорогу, но та на подъезде к озеру в паре нехороших мест расплзлась, так что недолго было и увязнуть. Днём хорошо были видны обходы, а теперь... И точно – в одной раскисшей колее едва не сели. Побуксовали, однако ничего – на понижающей враскачку выбрались.

Пал Палыч бодрствовал, все остальные в доме спали – время перевалило за полночь. Так получилось: долго ехали из Михалкина – парусила лодка на крыше. Когда Цукатов и Пётр Алексеевич, разгрузившись и переодевшись, зашли в кухню, на плите в большой сковороде уже скворчала картошка со свининой, а на столе среди Нининых овощных заготовок, сырных, колбасных и мясных нарезок стояла бутылка ледяной водки – из тех, что привёз Пётр Алексеевич и предусмотрительно схоронил в морозильнике.

– Надо уток ошипать, – сказал профессор. – Утром некогда будет – поедем на зорьку.

– Много? – Пал Палыч щедрыми ломтями нарезал душистую буханку.

– Три штуки. – Цукатов в детском нетерпении взял со стола и сунул в рот ломтик сыра.

«Ребездок», – щёлкнуло в голове Петра Алексеевича местное словечко – так называли здесь дольку сала, мяса, колбасы или чего-то иного, отрезанную предельно тонко, чтобы разом положить в рот, где та растает.

– А ня берите в голову, – махнул ножом Пал Палыч. – Завтра Нина ошиплет.

– Нам Нина за лебеда так ошиплет, что не приведи Господи – дуй не горюй. – Пётр Алексеевич поднял глаза к потолку. – С нами крестная сила!

Пал Палыч задумался.

– Может, отойдёт, – сказал неуверенно. – А может, и бронебойным шарахнет в башню. Вот тоже! – В шутиливом негодовании Пал Палыч бросил нож. – Давайте, наливайте. – Вскочив, он водрузил на подставку в центр стола дымящуюся сковороду.

– Я смотрю, у вас тут с лебедами строго. – Зевота ломала Цукатову челюсти.

– Это у Нины особое дело – ей за лебедей больно... – Вдаваться в детали Пал Палыч не стал.

– В гневе женщины подобны бурлящему Везувию, – сообщил Пётр Алексеевич, отворяя заиндевелую бутылку. – И это сравнение делает вулкану честь.

Выпили и накупились на горячую картошку со свининой – аппетит нагуляли изрядный.

После второй Пётр Алексеевич вспомнил про косуль на поле.

– А все звери из лесу, – откликнулся Пал Палыч, – козы, лисы, зайцы... да и птицы тоже – все ближе к деревьям жмутся. То ли пропитание, то ли общение у них какое или что – тянет их к людям. Нам ня понять.

Утолив голод, размякли.

– Отслужил год, и на меня командир батальона дал приказ – в отпуск. За хорошую службу. – После третьей рюмки Пал Палыч погрузился в воспоминания. – А со мной служил сержант – азербайджанец. И начальник штаба тоже азербайджанец – Абдулаев. Такой человек, как уголь – ня обожжёт, так замарает. Ну, он там, в штабе, и поменял фамилии с моей на его. И мне ня дали отпуск, дали ему. Повезло так. Прошла няделя, может, две – вызывает меня командир роты, говорит: так и так, бабушка у тебя умерла, вот теляграмма. А бабушка считалась дальний родственник, ня близкий. Близкий – родители да братья-сёстры. На похороны к ней ня отпускали. Но я тебя, ротный говорит, за хорошую службу могу отпустить на десять суток – только за свой счёт, потому что какие деньги были, все на отпускников потратили. Поехал без денег – малыцы скинулись. Прибыл домой, а тут отец слёг – сердце. Давай, говорит, попрощаемся – больше ня увидимся. Уехал, так больше отца и ня видал. Как вернулся в часть, теляграмма – помёр отец. Я выезжаю. Так вот два раза в отпуске и побывал. – Пал Палыч закинул руки на затылок и потянулся. – Дисциплинированный был – после армии на «Объективе», заводе нашем оптическом, у бригадира разрешение спрашивал в туалет сходить. Надо мной смеялись. Как привык в армии, так и тут...

После четвёртой отправились спать – через три часа Петру Алексеевичу и Цукатову надо было вставать, если хотели успеть на зорьку. Что до Пал Палыча, то он и вовсе никогда не выходил за меру.

Действительность, запущенная с клавиши «пауза», всегда врывается внезапно, будто обрушивается из ничем, казалось, не грозящей пустоты. Даже если обрушившееся – тишина.

Первое, что увидел Пётр Алексеевич, открыв глаза, – начертанную солнцем на стене геометрическую фигуру. Такой покосившийся, чуть сплюснутый с боков квадрат, без прямых углов, но с параллельными сторонами. Он знал, как называется эта фигура, но даже произнесённое мысленно название так вычурно, церемонно и неорганично обстоятельствам плясало

в разболтанных сочленениях, что он предпочёл изгнать вертящееся и подскакивающее слово из головы.

«Проспали», – догадался Пётр Алексеевич.

В комнату вошёл Цукатов, руки его были по локоть в пуху.

– Кишки заспиртовал? – участливо поинтересовался Пётр Алексеевич.

Профессор с привычным видом превосходства усмехнулся.

– Вставай. Поехали. Ключ надо отдать.

Он говорил, будто катал по сукну костяные шары.

Нина к завтраку не вышла – в кухне хозяйствовал Пал Палыч.

– Вы дом не продавайте, – сказал Пётр Алексеевич. – Ни сами, ни детям не позволяйте. Это ж, Пал Палыч, родовое гнездо и детям вашим и внукам. А родовое гнездо продавать – последнее дело.

– Я даже ня спорю с вам. – Пал Палыч врубил электрический чайник. – Даже запятую нигде поставить ня могу. Я ведь понимаю, что буду слабеть. Как совсем ослабну, тогда зятю и доче скажу: мудохайтесь – вот вам мой дом, делайте, что хотите, а я – только рыбалка да охота. Понимаете, замысел какой, чтоб к дому их привлечь? А там уж как у них получится. Надо отдавать им борозды правления, чтобы ня по кабакам ходили, а – вот вам родовое имение, гните спину. Так что продавать ничего ня позволю – так, хитрю. – Пал Палыч нацелил на Петра Алексеевича большой крепкий нос и уточнил: – Это хитрость в хорошем плане, ня та, которая чтоб обмануть человека, а умная. Они – тут, а я смогу и в их доме – хоть сторожем. А что? Пистолет с зямли выкопаю и буду с им спать. Сила-то заканчивается – только на курок нажать...

Про то, что сила у него заканчивается, Пал Палыч лукавил – мог трактор из болота вытолкать.

Через полчаса, наскоро перекусив, Пётр Алексеевич и Цукатов сдули и упаковали лодку, погрузили *катенек* в машину и отправились к рыжему староверу. Тут же и ружья: решили прогуляться с Бросом по берегу Михалкинского озера – вдруг из травы поднимется утка, – а то и обследовать те озерца между Теляково и Прусами, на которые вчера не хватило времени.

Утро выдалось ясное, кругом разливалось весеннее нетомящее тепло. Цукатов досадовал, что проспал зорьку. В тон ему вздыхал и Пётр Алексеевич – огорчился без фальши, но вместе с тем был умиротворён и рад, что выспался. «Должно быть, – думал Пётр Алексеевич, – я по натуре не законченный охотник, как Пал Палыч и Цукатов, не одержимый тип, а так, любитель – на половинку серединка...» Впрочем, повода для печали он тут не находил: Пётр Алексеевич привык принимать жизнь такой, какая она есть, во всём её несовершенстве – не запрашивал от неё большего, чем она могла дать, и чутко понимал, где человеку следует в своей требовательности остановиться.

На этот раз ворота на двор Андрея были закрыты.

Только вышли из машины, как тут же у калитки явился и хозяин.

– Смотрю, упустили зорьку. – Андрей взял из рук Цукатова ключ от лодочного замка.

– Засиделись за полночь, – сказал Цукатов. – Даже будильник не слышали. Ничего, по берегу пройдемся – не возьмём никого, так хоть издали посмотрим. – Профессор открыл заднюю дверь салона и достал коробку с подсадными. – Вот, держите. Голосят, как серафимы в Царствии Небесном.

– Спасай вас Бог. – Хозяин степенно качнул рыжей бородой и принял коробку.

– А гуся на вечерке не было, – с напускным укором сказал Пётр Алексеевич. – И утки – не густо. Небось, сами всех уже пощёлкали.

– Какое – мы ещё не приступали, – шуря лукавые глаза, спокойно отвечивал Андрей. – Знать, днём снялись. Им до гнездовий ещё махать не намахаться...

Над озером выгибался голубой купол с белёсым пушком по горизонту, в котором тонули дали; ветер притих в небесной узде – не поднимал ряби и не гонял волной сухие травы. На чистой воде ближе к камышовым островкам сидели утиные и лебединые стада. Их Цукатов подробно изучил через окуляры бинокля. Наконец, подтянув болотники до паха, в сопровождении неугомонно рыскающего в высокой траве Броса отправились вдоль берега по заливному, покрытому высокими кочками лугу, так по весне и не дождавшемуся половодья, налево – в те края, где вчера болтался на резинке Пётр Алексеевич.

Шли по кромке; земля между кочками была сыра и местами чавкала под сапогом. Зайдя за мыс, увидели на глади заводи стайку в десяток уток и двух белых кликунов. До них было метров сто или немного больше, но и Цукатов, и Пётр Алексеевич разом машинально присели в траву шагах в четырёх друг от друга. Утка сидела спокойно, не заметив или не обратив внимания на появившиеся и тут же исчезнувшие фигуры.

– Сейчас попробую спугнуть, – приглушённо сказал профессор. – Будь наготове, если в нашу сторону махнут.

Отведя ключ, он откинул стволы, вынул из правого патрон с пятёркой, поискал в патрон-таше и достал другой – с резиновой пулей. Пётр Алексеевич никогда не пользовался такими зарядами, поэтому смотрел на манипуляции Цукатова с живым интересом. Защёлкнув стволы, профессор некоторое время примерялся, производя в голове баллистические расчёты, потом гаубичным навесом, градусов под тридцать, выстрелил в сторону утиной стаи. Не дожидаясь результата, он мигом перезарядил правый ствол, вложив в патронник прежнюю пятёрку.

Резиновая пуля, между тем, перелетев на несколько метров лебедей и уток, смачно шлёпнулась в воду. Напуганные ударом выстрела, птицы шарахнулись было от берега, но, сбитые с толку близким шлепком, побежали по глади в сторону от упавшей пули и, встав на крыло, сначала утки, а следом и лебеди пошли по дуге на берег, намереваясь развернуться и уйти подальше на озеро.

Когда утки начали отворачивать, их уже можно было достать выстрелом, а кликуны и вовсе, то ли от горделивой беспечности, то ли в зловещей решимости, двигали метрах в пятнадцати над землёй прямо на сидевших в сухой прошлогодней траве кочкарника охотников. Пётр Алексеевич выцелил селезня, но Цукатов опередил – выстрел ударил в ухо Петру Алексеевичу так звонко и резко, что он невольно дрогнул, потерял цель, а через миг бить по уткам в угон уже не имело смысла. Лебеди тоже взмыли в небо, заложили полукруг и ушли далеко на открытую воду.

В ушах Петра Алексеевича стоял протяжный, застывший на одной ноте, колокольный гул. Он бросил взгляд на Цукатова – тот, поднявшись в полный рост, оторопело смотрел на ружьё, будто держал в руках невестку как попавшую к нему гремучую змею. Пётр Алексеевич шагнул к профессору – правый ствол его ружья недалеко от казённой части был разворочен, воронёная сталь, ошетинаясь, раскрылась рваной раной. При этом лицо Цукатова и руки были целы.

– Ого! – Пётр Алексеевич присвистнул. – Да ты в рубашке уродился!

– Вот чёрт дерит... – Цукатов бледно улыбнулся. – Конец охоте.

– Чудила! Могло быть хуже. Я ж тебя предупреждал. Помнишь, Пал Палыч говорил? Может, говорил, отойдёт, а может, бронебойным шарахнет в башню.

– И что? – Цукатов, похоже, всё ещё был под впечатлением события и не понимал слов Петра Алексеевича.

– Да ничего. Шарахнуло.

Спустя неделю профессор по телефону сообщил Петру Алексеевичу, что в деталях изучил вопрос, поговорил с матёрыми охотниками и выяснил, в чём дело: резиновая пуля, скорей всего, оказалась либо бракованной, либо просто старой – резина размазалась по стенкам

канала ствола, отчего при следующем выстреле дробь спрессовалась и в стволе заклинила. Пётр Алексеевич, придерживая телефон у уха, со скептической улыбкой размеренно кивал обстоятельному рассказу. Какая пуля? Что за чепуха? Не надо было Цукатову показывать хозяйке лебедя. Ни в коем случае не надо.

## Собака кусает дождь

Палимый солнцем, скромно украшенный бледными августовскими цветами луг незаметно перешёл в кочковатую чавкающую болотину (здесь говорили «болотá»), поросшую дюжей – по грудь, а то и в рост человека – осокой и каким-то мелколистным, пучками торчащим быльём с тонкими сочными стеблями. Над осокой, кое-где уже опушённой первыми перелётными паутинками, изредка поднимались густые шапки лозы. Берег протоки, змеящейся, выделявавшей колена, тут и там тёмной зеленью помечали заросли камыша (здесь говорили «тростá»), подсказывая направление очередного извива. Позади осталась получасовая дорога по одичавшему, уже практически непроезжему просёлку через сырое низинное чернолесье, заброшенную деревню Струга и девственные некошенные луга. Теперь, наконец, дошли – Селецкая протока была целью, ради которой пустились в путь.

– Пётр Ляксеич, пригнитесь, – тихо сказал Пал Палыч, сам уже пригнувшийся и державший ружьё наизготовку (здесь якали, вместо «что» говорили «кого», подрезали глагольные окончания и чудили с падежными: «по голове дярётся», «кого говоришь?», «пошёл к сястры», «Мурка приде и тябе поцарапае», а слово «студень» и вовсе было тут женского рода, однако Пал Палыч учился в техникуме на ветеринара и прошёл армейскую службу, поэтому чистоту местного говора во всей полноте не сберёг).

Пал Палыч вытягивал над осокой шею, осторожно ступая по тугим кочкам и пытаясь разглядеть, нет ли на показавшейся за камышом заводи, отороченной листьями кувшинок, уток. Утки были. Они заметили не успевшего пригнуться Петра Алексеевича и, забив крылами, с криком поднялись в воздух. Сначала две, и тут же из водяной прибрежной гущины – третья. Пал Палыч медлил, давая возможность гостю выстрелить первым, верхняя губа его слегка подрагивала, как у кота, смотрящего через оконное стекло на воробьёв.

От неожиданности Пётр Алексеевич замешкался, не собравшись толком, выстрелил в наброс раз и другой. Мимо. Пал Палыч стрелять не стал – поздно, даже тройкой крикву было уже не достать.

– Выцеливаете плохо, – определил он причину неудачи. – Вядёте как надо, с упряжением, а перед выстрелом ствол у вас встаёт. А ня надо так. Утка – ня ваш брат, ждать ня будет. Захоти даже, ей под мушку на месте ня растопыриться.

– Знаю, – вздохнул Пётр Алексеевич. – В теории всё знаю. Практики маловато.

– А ня бяда. Я сперва, как ружьё в руки взял, палил, точно дитё, – и в ворону, и в сороку, и в соколá. Руку набивал. Тяперь и ня думаю, как целить, глаз сам знает.

Промаху Пётр Алексеевич совсем не огорчился – он ходил на охоту не за добычей, а за впечатлениями. К тому же бить уток с подхода и на взлёте без собаки ему ещё не доводилось. Без собаки – как? Кто из воды подаст, кто отыщет подранка? Одно дело с лодки, тихо подгребая вдоль берега и спугивая уток из травы или с потаённых в камышах загубин. Либо осенью, когда утки уже собрались в стаи, в зорьку на озере, разбросав по воде чучела (здесь говорили «болваны»), загнав лодку в камыши и там крикая, караулить птицу на пролёте. С лодки и добычу на воде подберёшь, а тут как же?.. Об этом он утром спросил Пал Палыча. «А ничего, – ответил тот. – Жопу замочим, а достанем».

У приметного куста лозы договорились разойтись: Пал Палыч пойдёт вдоль протоки направо, Пётр Алексеевич – налево. Прогуляются каждый в свою сторону на пару километров, потом к этому кусту вернутся. Подтянув закреплённые на пояском ремне лямки болотников, Пётр Алексеевич отправился в отведённые ему уголья. Идти по болоту было трудно – подсекала шаг кустистая осока, приходилось работать всем корпусом и, точно цапля, задирать ноги, стараясь не споткнуться о кочки и вместе с тем не дать сапогу увязнуть в разверзающейся между ними чёрной грязи. Ружьё мешало балансировать руками, ножны «ерша», подвешенные

за петлю на ремень, бились о ляжку и норовили залезть в голенище болотного сапога. Впрочем, это было уже не голенище, это было *ляжище*. У самого берега осоку местами сменяла какая-то зелёно-бурая мясистая трава, напоминавшая небольшие пучки агавы, и почва под ногами начинала колебаться – болотная топь обращалась в трясину, готовую в любой момент провалиться под сапогом. Эта ходуном ходящая зыбь либо просто обрывалась в воду, либо переходила в островки торчащего из протоки гладкого камыша.

Будучи не промысловиком, а ловцом впечатлений, выбиравшимся из города на охоту три-четыре раза в году, Пётр Алексеевич заводить собаку не спешил – всё смотрел да примеривался. Пал Палыч же, местный Нимврод, на утку ходил только с гостями (дело знал и шёл за добычей весело, но считал утиную охоту едва ли не баловством, да и жена его, Нина, не любила возиться с неошипанной птицей), а лаек держал для другого дела – на зайца, кабана, косулю, лося. Раньше у него были в заводе и норные собаки, но после того, как две из них погибли, когда он, не расслышав подземный лай, вовремя не успел отрыть их из барсучьего хода, Пал Палыч норную охоту оставил. Полагал – до поры.

Двух лаек (местных мешанцев), кобеля и суку, Пал Палыч взял щенками и натаскивал на зверя сам, третью по кличке Гарун ему привёз из Петербурга знакомый зоологический профессор. Родители Гаруна были медалистами, да и самого его отметили висюлькой за экстерьер, но попал щенок в случайные руки и до двух лет жил на положении комнатной собачонки в городской квартире у хозяев, не имевших представления об охоте и полевой выучке. Когда они поняли, что не правы, решили отдать питомца тому, кто сможет составить его охотничье счастье. Да и не городская порода – лайка. Зоологический профессор о том узнал, пса забрал и привёз давно подумывавшему о породистой собаке Пал Палычу – по-приятельски, в дар. И вот уже четыре месяца Пал Палыч пытался поставить Гаруна на охоту, – по собственному выражению, «разбудить в нём рóду».

С профессором Пал Палыча познакомил Пётр Алексеевич, приехав как-то с ним и его спаниелем в эти места погонять серых куропаток, поэтому теперь он чувствовал себя обязанным о судьбе Гаруна справляться. На селе охотник бестолковую собаку задарма кормить не будет – выведет в лес и шлёпнет, дело обычное. Гаруну, чёрному с белой грудью красавцу, такой судьбы Пётр Алексеевич не желал, хотя суровость местных нравов не судил. А опасаться было чего – до двух лет пёс практически не знал, что такое поле и что такое лес, как ходить по ним с хозяином, как брать след, зачем дано ему верхнее чутьё и что это за дело – гнать и облаивать зверя.

Зато Гарун кусал дождь. Трусящая с небес морось его не волновала. А вот ливень дразнил не на шутку – он с клацаньем хватал ускользящую добычу, не понимал, как удалось ей увернуться от его зубов, лаил на белые струи и не мог успокоиться.

Срезая по болоту излучины, то отходя, то приближаясь к берегу петляющей протоки, Пётр Алексеевич перебирался от плёса к плёсу и из-за кустов лозы и камыша осторожно высматривал на открытой, почти неподвижной воде уток. В ближайшем рукаве с чистой заводью никого не было. Утирая с лица пот, отправился дальше, но до следующего плёса пройти не успел, видимо услышав Петра Алексеевича издали, четыре утки слетели на таком расстоянии, что стрелять было бесполезно. Пётр Алексеевич пригнулся и скрылся в траве, следя за утками – не сядут ли на воду где-нибудь поблизости. Но нет, описав дугу, утки ушли вдаль, на озеро. В той стороне, куда отправился Пал Палыч, ударил дублет. Пётр Алексеевич обернулся и снова присел в густую осоку – поднятые выстрелами на его край летели две утки. Он затаился, припав к ружью, – утки в дюжине метров над землёй, одна впереди, вторая чуть в стороне и сзади, шли прямо на него. Внутри расходящимся жаром вспыхнула кровь – ловчий азарт ударил в сердце.

Пётр Алексеевич один за другим спустил курки, когда цель была едва ли не над головой. Дважды громынуло. Тугая волна покатила по лугу к лесу и отразилась от стены деревьев глухим отзвуком. Сбил только одну – первым выстрелом. Вторая, вильнув, ушла. Утка упала

практически в руки, шагах в четырёх. Быстро перезарядив ружьё, Пётр Алексеевич подскочил к замеченному месту – знал: если сразу не углядишь, куда ухнула птица, потом можно искать в заросшем кочкарнике до вечера. Добывать не пришлось – дробь попала в шею и голову, о чём свидетельствовал выбитый кровавый глаз и кровь на зубу. Это был крупный упитанный селезень, он ещё не перелинял, зелёное переливчатое перо на шее едва показалось, но уже лоснилось атласным блеском. Добрый селезень, про такого Пал Палыч сказал бы: «Он лятит, а с него жир капает». Хотя обычно так он говорил про северных гусей, на пролёт которых звал гостей в октябре.

Приторочив добычу за шею к патронташу петлёй кожаного шнура, повеселевший Пётр Алексеевич двинулся по болоту дальше. А тут и солнце ушло за облако, перестав наконец безбожно припекать и взблескивать на воде, слепя высматривающий птицу глаз.

Часа через полтора, ругая себя за то, что оставил в машине бутылку с водой, Пётр Алексеевич, дважды уже провалившись одной ногой в чавкающую жижу по бедро, возвращался к кусту лозы, возле которого они с Пал Палычем разошлись в разные стороны. Он устал и уже не следил (не было сил) за тем, чтобы одолевать топь без лишнего шума. На его патронташе по-прежнему висела только одна утка. Трижды ему подворачивался верный случай: два раза он промазал – выбил пару перьев из хвоста и только, – а третий... Третьим был чирок, в которого он, подкравшись за камышами к плёсу, всадил заряд, но подранок ушёл в крепь на другом берегу протоки – без собаки его было никак не взять, даже если решишь *замочить жопу*. Пётр Алексеевич не стал и пробовать.

Солнце, то сияя на небе, то скрываясь за облака, прошло уже изрядный путь и перевалило зенит. Лёгкий ветер, накатывавший тёплыми волнами, колыхал осоку и ветви лозы. Лес за лугом, из которого пришли охотники, подернулся прозрачной сизовой дымкой. Небо выглядело ярче блёклого луга, прибрежная маслянистая зелень и играющие на глади заводи блики тоже выигрывали у него в цвете. Слепней на болоте отчего-то не было; время от времени, когда набегала облачная тень, на разгорячённого Петра Алексеевича налетал комар, но в целом, благодаря ясному дню, кровососы не свирепствовали. Вокруг стояла белёсая полуденная тишина с приглушённым, то спадающим, то нарастающим шорохом ветра в тальнике и паутинным шелестом трав в качестве рабочего фона. Такой эфирный прибор.

Пал Палыча у пограничного куста Пётр Алексеевич не нашёл. Не видно его было и на берегу протоки, насколько охватывал болотину глаз. Наверно, тот вошёл в азарт и забрёл дальше оговоренной пары километров.

Невдалеке над осокой парила кругами какая-то хищная птица, судя по вырезу хвоста – коршун. Пётр Алексеевич, вспомнив признание Пал Палыча о том, как тот по молодости, набивая руку, баловался с ружьём, даже прицелился в «соко́ла», раздумывая, какое заложить упреждение, но стрелять не стал. Пусть себе кружит. Чувствуя усталость в теле, он прошёл с прибрежной топи к лугу и на сухом месте сел в траву. А потом и лёг на бок, с наслаждением вытянув ноги. На цветущем дедовнике хлопотал бойкий полупрозрачный паучок. Рядом на листе тёмной травы, напоминающей мяту, но определённо бывшей не мятой, сидел зелёный шарообразный жучок-листоед. Он металлически поблескивал на солнце, а когда лист покачивался на ветру, зелень его отливала алым.

Услышав издали ритмичный шорох, – так коса сечёт траву, – Пётр Алексеевич понял, что Пал Палыч уже неподалёку. Встав на ноги, он посмотрел на уходящий вправо осочник. Пал Палыч, высоко поднимая колени, бороздил болотину – над осокой качались лишь его плечи, голова и крепко зажатое в руках ружьё. Пётр Алексеевич двинулся ему навстречу.

– Двух ня нашёл. В траву ушли, как иголлка в стог, – без особой досады сообщил Пал Палыч. На поясе его болтались пять уток – три кряквы и два чирка. – В прошлом году крохалей много было, а нынче нет совсем. В чём дело – ня пойму.



– И у меня два подранка ушли, – скромно приврал Пётр Алексеевич.

Он испытал мимолётное чувство стыда за свою недобычливость, но трофеи Пал Палыча рассматривал без зависти: тот, небось, с ружьём родился, его удача не от случая, а от охотничьей сноровки – мастерству не завидуют, о нём мечтают. Лицо Пал Палыча покраснелось, выбившиеся из-под кепки волосы налипли на потный лоб, но выглядел он бодро и, казалось, ничуть не был утомлён болотным мытарством.

Закинув ружья за спины, пошли обратно – через луг, к лесу. Пётр Алексеевич ступал впереди, всем видом стараясь скрыть усталость, но ноги в болотниках налились тяжестью и предательски цепляли неровности пути.

– Что-то вы, Пётр Ляксеич, заморивши, – сказал сзади Пал Палыч. – А ня спешите. Идите, будто гуляете.

– Всё в порядке, – заверил Пётр Алексеевич. – С непривычки уходился.

– Большое дело – привычка, – согласился Пал Палыч. – По мне так в лесу день проплутать – ня труд. Я по молодости спортом болел – бегал всё. Со школы ещё. Да и после... За район выступал. Каждый вечер после работы – приду домой, пряроденусь, шась на улицу и бягу. Да ня просто, ня пустой, а ещё камней в мяшок наложу – за плечи его и бягу с им как с горбом. Много годов так. А когда жанился, Нина и говорит: зачем ты такой мне – всё из дома как дурачок бегаешь, кончай блажить уже. Ну, я маленько подумал и перястал. Мядалей мне за страну ня брать – что, думаю, бегаю впустую, на охоту надо пряродить. Дома-то всё равно ня сидится, приучил организм – в повадку ему вошло. Вот так с ружьём всё и лазаю. И жана ничего: вроде как при деле – промысел, значит.

– Да вы по этой части – первый номер, – искренне польстил Пал Палычу Пётр Алексеевич.

– Ня скажите, Пётр Ляксеич, есть и посноровистей. В прошлом году вон из Москвы двое приехали – сосед мой их по мочилам водил. Ружья вот так носят – стволы на плече, и что ня выстрел – то утка. Сосед говорит, ня разу промаху ня дали. За три дня бочку вот такую набили, – Пал Палыч показал руками обхват, а потом и высоту емкости – бочка вышла вместительная, литров на двести, – закоптили и уехали. Мастера по стендовой стрельбе. Я-то ня так, я сябе положил, чтоб в исходе с трёх патронов – утка. Такой счёт и дяржу пока. Да и ня надо мне бочками-то. У меня корова с тьяёнком, кроли, огород, поросята. Мы в природе живём – лишнего у ней ня возьмём, но и на каждого бобра лицензию выправлять – это извините. Я тут сызмальства и уж наверно знаю, что у зямли, у природы то есть, можно взять, а что няльзя.

– Не так просто тут, знаете ли, не в линейку. Вы вот пуповину свою природную не порвали и чувствуете землю как мать. А мало, что ли, у вас по соседству таких, на земле живущих, которые браконьерят как черти? Хоть трава после них не расти? – Усталость как-то понемногу рассосалась, и теперь Пётр Алексеевич с удовлетворением сознавал, что ресурс не вышел, и он, пожалуй, выдержал бы ещё одну болотную пробежку. Вот только разговор шёл не туда, но слово сорвалось и потащило за собой под уклон другие.

– Правда ваша, – вежливо согласился Пал Палыч. – Только в том бяда, что законы пишу ня я, как вы сказали, с пуповиной, а те клящи, для кого зямля давно уже ня мать родна, а корова дойная. Завистливые и жадные. А и у тех разумения нет. Они меня учат, а сами ня знают ни как корову за вымя подержать, ни как ей корма задать.

Пётр Алексеевич поморщился. Ему претила вульгарная политика, в которой соотечественники находили выход своему общественному темпераменту. Все комбинации этой бесконечной русской темы были ему известны и дурной своей неисчерпаемостью давно набили оскомину. Ну никак не мог русский человек смириться с тем, что, как и прочие народы, живёт в аду – у иных он, может, только почище, а у иных и погрязней, – всё печалился о справедливости, искал её, звал, а откликались всякий раз бесы ангельскими голосами и опять заводили в тартарары. Да и речи о справедливости в большинстве случаев так или иначе сводились к

деньгам, а это и вовсе уже чепуха – либо деньги, либо небо на земле. Что ни говори, а марксизм – сила.

– И то верно. – Пётр Алексеевич продемонстрировал ответную вежливость. – За это им, клещам, в пекле век сковородку лизать. Ну а Гарун как? Толк из него будет?

– А будет – как ня быть?

Они шли через брошенную деревню, уже задавленную молодым осинником и не знающей удержу крапивой. Крыши домов, однако же, были целы, и в окнах блестели стёкла, так что при нужде какая-нибудь пустующая изба вполне могла сгодиться для ночёвки – Пал Палыч говорил, что иной раз охотники этим пользовались и даже топили печи в холода. У покосившегося крыльца одного из домов, заросшего крапивой в человеческий рост, Пётр Алексеевич на миг задержался, оглядев примеченный ещё по пути на протоку лопух. Один лист у лопуха вывернулся, и на его открытую солнцу белёсую бархатистую изнанку вылезли погреться две маленькие бурые ящерки. Так они и сидели с тех пор, кажется даже не утрудившись переменить изломанной позы.

– Я его в лес бяру. Иной раз ночью даже. Дурной ещё, конечно. В поле бягёт впереди меня, а в лесу нет – боится. И на кабана ня лает – страшно ему. Причует в кустах кабана и встаёт. Молчит и няйдёт, сзади жмётся. Или вот в поле с собаками собярусь – мои спокойно бегают, привычно, а этот, Гарун-то, носится, будто с цапи сорвавши. Такая у него городская мода – там на прогулку-то выводят на полчаса, так надо успеть скорей во весь пых убежаться. А мои ня бесятся, им лес да поле ня в диковинку. Пярерос он, конечно, Гарун-то, но нынче у него только первое поле идёт – начало натаски. Это уж по третьему полю вконец видно, на что собака годна, а на что нет.

Пал Палыч слегка придержал Петра Алексеевича за плечо. Неподальёку тут располагался старый заросший пруд, который они уже проверяли утром на пути к протоке. Но пройти мимо и не посмотреть, что творится на пруду сейчас, было бы не в охотничьих правилах. Скинув с плеча ружья и сойдя с едва заметной тропинки в высокую траву, цепляющуюся за одежду сухими семенами, молча забрали влево. Пруд окружали дубы и старые вёглы, посаженные здешними мужиками лет двести назад и пережившие и мужиков, и деревню; сам пруд зарос камышом и кувшинками, но в середине еще оставалось блюдце чистой воды. Пусто. Пал Палыч крикнул зычно: «Хай!» Из прибрежной травы никто не взлетел. Уток тут не было.

Вернувшись на тропинку, бодро зашагали в сторону сырого леса, и вскоре влажное царство ольхи, осины и берёзы накрыло их комариной тенью.

– А ещё у меня пасека в Залогe, – сказал Пал Палыч, возвращаясь мыслью к хозяйству. – Опять же надо за пчалами глядеть. Мать у меня там, в Залогe, но она старенькая уже да и с пчалами ня дружит. Ничего, мы в природе живём, бярём у ней в меру, что нужно, а она в свой чарёд за нами доглядывает. Без нашего спроса, по старому уговору вроде. Я матери говорю: ты с пчалами ня возись и рои ня лови, а чуть что – мне звони, я мигом примчусь. А тут в мае приезжаю раз, а она на меня дуется и разговаривать ня хочет. Рой с яблони, оказывается, хотела в лукно стряхнуть, а он на неё и упаде – всю покусали. А через три дня опять приезжаю – она меня встречает и смотрит так озорно, как молодая. Думаю, пенсию, что ли, получила? А она руки вверх тянет: во, – говорит, – выдал! Я и ня понял сперва, а она два года руку правую вот так, – Пал Палыч показал как, – выше груди поднять ня могла – ревматизм. А пчёлы-то весь ревматизм из ней, значит, и вытянули.

Дорога из чернолесья выскользнула в поле, на суходол, и вскоре за непроезжей лужей показалась оставленная охотниками на склоне холма машина. Подошли. Пётр Алексеевич нажал кнопку на пульте, и машина, узнав хозяина, радостно взвизгнула. Первым делом он достал из подставки между передними сиденьями бутылку воды, открыл и протянул Пал Палычу. Тот осторожно, стараясь не касаться горлышка губами, отпил. Пётр Алексеевич принял бутылку назад и, не почувствовав вкуса первого глотка, блаженно приник к ней горячим

иссушённым ртом. Побросали уток в застеленный полиэтиленом багажник; Пётр Алексеевич переобулся и сел за руль.

– Заедем-ка в Березовец на речку – тут ня далеко, – сказал Пал Палыч, спустив до колен болотники и устроившись спереди на пассажирском сиденье. Он сбросил куртку, взялся руками за пластиковую скобу, предусмотренную над бардачком на случай тряски, и чуть подался вперёд, стараясь не касаться сырой пропотевшей рубашкой тканевой обивки спинки. – Езжайте, я покажу.

Прежде чем добрались до дома Пал Палыча, у которого остановился приехавший на три дня провести местных уток Пётр Алексеевич (тесть с печником перекладывали в Прусах плиту – там был развал), по желанию хозяина завернули в Березовец. В километре за деревней поставили машину в тень раскидистой ветлы. Пал Палыч принялся лазить по кустам вдоль заросшей по берегу густым лозняком речушки, а Пётр Алексеевич, примостившись на бетонном парапете, воздвигнутом на обочине в том месте, где под дорогой пролежала труба, дававшая подземный проход речке, взялся ощипывать и потрошить совместную добычу. Благо было где вымыть руки.

Через полчаса Пал Палыч принёс ещё двух кряковых селезней.

Потом отправились в Болоково. Деревня стояла на слоистом известняке, лет сто назад здесь добывали строительный камень, о чём свидетельствовали сложенные из желтовато-сизого плитняка старые сараи. Долгие годы ходила деревня за водой на ручей, пути – полверсты; пробить колодец сквозь известняки мужикам было не по силам. Тридцать лет назад, на излёте колхозной жизни, пробурили в Болоково скважину, попали в мощную жилу, так что фонтан ударил метров на десять. Но вода оказалась минерализованной и чувствительно отдавала чем-то вонючим, возможно серой. Везили здешнюю воду на анализ: по составу – чистый нарзан. Или боржом – Пал Палыч точно не знал, что есть что. Или того лучше – баденские воды, эти точно серные. Полезно, конечно, при разных расстройствах, но на боржоме щи не варят. Однако в Болокове понемногу привыкли, ничего – можно. А одна слепая старушка, регулярно умывавшаяся под струёй, по свидетельству местного предания даже прозрела. Пал Палыч рассказывал, что в перестройку кто-то предприимчивый из пришлых хотел наладить здесь газирование и розлив воды в бутылки, но умирающий колхоз добро не дал.

Через несколько лет фонтан заделали в трубу с коленом, и вода стала хлестать не вверх, а горизонтально. За прошедшие годы жила ничуть не оскудела – баденские воды затопили луг, превратив его в пахнущее гнилым луком болото, и там, на мочилах, бывало, паслись утки.

Метрах в ста от минеральной скважины Пал Палыч подстрелил на взлёте кряку и, оставив её на попечение Петра Алексеевича, хлюпая сапогами, скрылся в камышах. Недоступная тушка покачивалась на глади заводи. Взяв из машины топор, Пётр Алексеевич вновь натянул болотники, срубил неподалёку берёзку, очистил от ветвей и, подойдя к самому краю вязкого гнилого берега, хлыстом подтянул к себе утку. Здесь, в мочилах, вода отстаивалась, растворённые в ней соли/щёлочи уходили в почву, и чёрная, вымешанная сапогами грязь воняла необычайно. Счёт был разгромный – 8:1. Впрочем, тут Пётр Алексеевич даже не доставал с заднего сиденья ружьё – впечатлений на сегодня было уже достаточно.

Вечером, сидя за столом в доме Пал Палыча, щедро потчуетый дарами его хозяйства, Пётр Алексеевич прислушивался к себе и ощущал, как ободрились за день его чувства. Ничего особенного вроде бы не произошло, сегодняшняя охота не стала для него добычливой, однако шевеление трав, блеск воды, взлетающая птица, сияние неба, зелёный жук, бьющаяся изнутри брошенного дома в окно пухлая бабочка, ящерики, вековой плитняк сараев, вкус холодной минеральной струи – всё увиденное, услышанное, попробованное за сегодня вспыхивало в его

сознании, шевелилось, высвечивалось одно за другим, желая запомниться, не ухнуть безвозвратно в забвение, найти в памяти свой уголок.

На столе были свежие овощи, зелёный лук, домашнее сало, колбаса, солёные огурцы, тушёная телятина с печёными кабачками, душистый хлеб из местной пекарни, густая домашняя сметана, жареные голавли и мёд двух качек – июльской и августовской. Ну и, конечно, водка – о ней уже позаботился Пётр Алексеевич, знавший хлебосольство Пал Палыча и не желавший чувствовать себя полным прихлебателем. Нина хлопотала по хозяйству, между делом приглядывая за малолетним внуком, и за стол с мужчинами не садилась. Дом у Пал Палыча был великий, в два этажа. Первый – кирпичный, второй – из толстого тёсаного бревна. Строился он на большую семью, но выросшие дети уехали от земляной жизни в Петербург и теперь лишь ненадолго приезжали к родителям в уездный городок, основанный Екатериной, почти до основания разрушенный в последнюю германскую войну и неинтересно, без любви восстановленный заново в послевоенные годы, – догуливать отпуск, проведённый, как и положено, в Хургаде или Анталии. Ну и, само собой, время от времени подбрасывали на забаву внуков.

Первую рюмку выпили за охотничье счастье – у Пал Палыча с этим делом всё было в порядке, а вот Петру Алексеевичу удачу определённо не мешало приманить.

– В Иванькове у меня кабаны прикормлены, – макая в сметану зелёную стрелку лука, признался Пал Палыч. – Там, в лесу, за старым садом колхозным, брошанным, я сляды увидел и кукурузы насыпал полтора ковшика. В том году ещё за хорошую цену два мяшка кукурузы купил. Дед иваньковский, приятель мой, ходил смотреть – вся прикормка подъедена. Звонил утром. Я поехал, ещё насыпал. Если опять съедят, хоть иди туда на ночь. Наверняка, конечно, ня скажешь: придут – ня придут... Там на осине у меня пярекладины набиты – ничего, сидеть можно. Пётр Ляксеич, а хотите на кабана? Я фонарь подствольный дам. Только матку ня бить – подсвинка высматривайте.

Пётр Алексеевич решительно отказался.

– Мне барская охота по душе, – признался он, хрустя огурцом. – Та, что по перу – утиная да по боровой дичи, когда больше ходишь, чем стреляешь. Легавую думаю завести.

Выпили ещё по одной – за целостность ружей. Пётр Алексеевич нахваливал закуски – сметана, сало, телятина, голавли и впрямь были хороши, – снова наливал водку, Пал Палыч останавливал горлышко пальцем над вполонину наполненной рюмкой: «Хватит, хватит...»

– А что, скажите мне, такое значит – жить в природе? – задал Пётр Алексеевич давно щекотавший язык вопрос. – По-вашему ведь это, верно, целая стратегия, особый жизненный уклад?

– Скажете тоже – стратегия, – водружая на хлеб ломоть сала, улыбнулся Пал Палыч. – Ничего мудрёного. Живи и тем, что тябе природа даёт, пользуйся, но только так, чтоб она ня обяднела, чтоб сохранилась, а то и умножилась. Нужна тябе лесина – бяри, но десять взамен взятой посади. Это же ня сложно. Или с пчалами тоже – я за ними слежу, чтоб ни моли, ни варатоза, подкормлю, когда надо, рои словлю, маточники вырежу... А они мне за то мёду, так что – и мне, и всей родне, и на продажу. Или вот охота... Корми зверя, чтоб плодился, матку ня трожь, лишнего ня добывай, а иной год и ня стреляй вовсе, если зверь на убыль пошёл. А то у нас как? Сойдутся охотники в бригаду и бьют зверя подчистую – кабана, козу, лося... С одной лицензией весь сезон. Всё зверьё извядут. А вы, Пётр Ляксеич, говорите: стратегия... Хорошо Бялоруссия и Прибалтика рядом – оттуда зверь к нам снова заходит. Так его опять в будущий год извядут. Бывало, на озере, на Алё, с острова на остров лось или коза плывут, так их с лодки ножами режут. Выстрел-то по воде далеко слышать, вот они и ножами... Там зямля откуплена – охотхозяйство частное, егеря строгие. Если светло и тушу тишком ня вывезти, так брюхо лосю вспорют, чтоб ня всплыл, место пометят и ночью заберут. Так вот.

Выпили под эти слова горькую рюмку.

– А что охотовед? – Пётр Алексеевич разбирал на тарелке голавля. – Куда смотрит? Пал Палыч махнул рукой.

– Охотоведа область ставит. Замгубернатора вопрос решает. Он, охотовед-то, туда, – Пал Палыч оттопырил на крепком кулаке большой палец и указал им в потолок, – мясо возит. Те же бригады ему долю дают... Пока у губернаторских дичина на столе, так значит – охотовед справный, посажен правильно, на своё место. А что зверя при таком хозяйстве ня станет – кому интяресно?

Тут уж было никуда не деться и по освящённой веками традиции некоторое время говорили о неустроенности русской жизни. Пал Палыч даже хватил шире, укрупнил масштаб, замахнулся на мироздание, неожиданно представ перед приятно удивлённым Петром Алексеевичем в образе законченного стихийного гностика.

Хмель брал своё – голоса собеседников стали громче, глаза заблестели. Пару раз в кухню заглядывала Нина и с любовью бранила мужа за какую-то чепуху, стараясь не столько для себя, сколько для Петра Алексеевича – ничего не попишешь, тоже традиция. Пётр Алексеевич это понимал и с улыбкой любовался ритуалом.

– Смотрю я на вас, Пал Палыч, и в толк не возьму, – после очередного тоста, поднятого за улизнувшую из кухни хозяйку, сказал Пётр Алексеевич, – откуда в вас эта незамутнённость сознания? Понимание земного порядка? Откуда эта ясность бытия?

– О чём вы, Пётр Ляксеич?

– А вот скажу. Со всяким бывает – иной раз тоска возьмёт за горло, да так крепко, что озарение пронзит, и понимает человек, что в жизни его всё не складно, всё ложь, все устремления его, желания, порывы – всё негоже и порочно. Что чёрен он от грязи мыслей и страстей, что нет в нём светлого места. А надо жить не так. Надо крестом перечеркнуть все скверно прожитые годы и строить заново жизнь на руинах тёмных страстей и поганных привычек. Тяжко это, но оставаться тем же – тяжелее... И рвётся от стыда и гнева на черноту свою сердце. Но вот проходит миг, мутнеет внутренний взор, и зарывается человек снова в свою навозную кучу, в тёплую грязь будней. И ни следа от проблеска не осталось, как его и не было. – Пётр Алексеевич в отчаянии потрянул головой. – А вот у вас не так. Вы среди прочих – ворона белая. Я вижу, как вокруг живут – лица угрюмые, пьют, матерят друг друга, злобствуют, дерутся, завистничают, крадут – родня у родни ворует. Земля давно запущена, никакое дело в руках у людей не держится. На земле жить – тяжкий труд, я это понимаю. Но ведь и радость в нём, в труде этом, если наладить его по уму и делать с хотением. У вас ведь, Пал Палыч, наладить получилось. Вы слова бранного попусту не скажете, делу и рюмке время знаете, дом у вас вон какой, и в доме вашем мир, хозяйство с толком ведёте, опять же ясное понятие о жизни в природе имеете... Вы, так сказать, человек-соль. С вами мир становится вкусным. Откуда это в вас, скажите? Почему другие не переймут?

– Сказать, что ли? – лукаво улыбнулся Пал Палыч. – А ня скажу. Покажу лучше.

Пал Палыч поманил Петра Алексеевича из-за стола и повёл сначала в прихожую, а оттуда в небольшие сенцы, где был устроен спуск в подпол и котельную. На лестнице, ведущей вниз, стояли вдоль стены два фанерных листа, на которых были растянуты выскобленные бобровые шкуры. В низком подполе пришлось пригнуться. Лампочка тут отчего-то не горела, и Пал Палыч, чтобы не поломать ноги, оставил дверь на лестницу открытой. Здесь, на стеллажах из струганой доски и на цементном полу, стояли банки домашних солений и варений, большие алюминиевые бидоны с мёдом, мешки с картошкой, корзины с луком и чесноком, ящики со свёклой, пересыпанной сухим песком морковью и какими-то другими не опознаваемыми в сумраке корнеплодами.

Встав на четвереньки и покопавшись на нижней полке стеллажа, откуда-то из заднего ряда тускло играющей бликами стеклянной тары Пал Палыч извлёк запылённую, запечатанную жестяной крышкой трёхлитровую банку, ничем особым на вид не выдающуюся. В таких

хозяйки закатывают огурцы и смородиновое варенье. С банкой в руках он поднялся на ноги и, склонив голову, двинулся к лестнице. По пути взял с полки пустой мешок, обтёр стекло, бросил мешок обратно.

– Сейчас под лампой осерчают, разрезвятся, – предупредил Пал Палыч.

На выходе он закрыл спиной идущий из дверного проёма свет, так что Пётр Алексеевич очутился на миг в темноте и тут же ушиб колено, налетев на бидон с мёдом.

Наконец, выбрались из подпола на лестницу. Здесь под лампочкой Пал Палыч повернулся к Петру Алексеевичу и показал матовую от давних наслоений подвальной паутины, исполосованную пыльными дорожками банку, из которой на свету раздался гулкий мерзкий писк. Пётр Алексеевич смотрел секунду, не понимая, потом взгляделся и обомлел. Два отвратительных существа в бурой свалявшейся шерсти, с бешеными круглыми глазами и с лоснящимися чёрными мордами корчились, плевались и верещали от бессильной ярости, остервенело строя людям злобные рожи. Пётр Алексеевич не испытывал отвращения ни перед крысой, ни перед змеей, ни перед нетопырем, мог спокойно взять в руки паука и поиграть с пиявкой, но при виде паскудных тварей испытал такую гадливость, что невольно, как от хлынувших из прорванной фанины нечистот, отпрянул от банки к стене, уронив фанерный лист с распятой бобровой шкурой.

– А ня бойтесь – им отсюда ня сбежать. – Пал Палыч так и сяк повертел в руках банку, показывая скребущихся изнутри в стекло гадин со всех сторон. – Это наши с Ниной. Даром, что ли, я охотник? Вот – словил.

– Боже, что это? – Пётр Алексеевич уже понял, кто сидит в банке, но разум требовал вербализации догадки.

– Ня знаете? А кто нам в левое ухо глупости шепчет? Они и есть.

Какое-то время Пал Палыч и Пётр Алексеевич молча рассматривали пленённых гадёнышей. Потом Пал Палыч крепко встряхнул банку, отчего твари, сплетаясь в клубок, возбуждись и забесновались так, что Петру Алексеевичу показалось даже, будто пасти их с мелкими лиловыми языками попыхивают чадным пламенем, а гипертрофированный, несоразмерный остальному телу, влажно набухший срам вот-вот пойдёт в дело... Уже пошёл. От картины этой ему сделалось не по себе.

– Экое няпотребство... Тьфу! – Пал Палыч смутился от эффекта, какой произвела на Петра Алексеевича его кунсткамера. – Ладно, будет. Уберу лучше.

Уже не приглашая за собой Петра Алексеевича, он скрылся в подполе, а вновь появившись на свету, признался:

– Ня знаю, что и делать с ими. Заспиртовать пробовал, так они и в спирту друг дружку яти... Может, профессору отдать? Пускай в музей какой определит. Как думаете?

Пётр Алексеевич думал о другом.

– Что, и у меня такой же? – предчувствуя ответ, всё-таки спросил он.

– И у вас, Пётр Ляксеич. А как же? Они ко всем приставлены. Только юркие больно, трудно глазом углядеть. Я после того, как наших-то с жаной зацапал, хотел и тех, что у дятлей, словить – так ня выходит. Они теперь городские, а у городских подлюги эти шибко шустры.

Пал Палыч и Пётр Алексеевич вернулись в кухню, за стол. Пётр Алексеевич, пребывая под впечатлением ужасной банки, тут же полез в сумку и достал вторую бутылку водки, которую предполагал оставить до завтрашнего ужина.

– Вот ведь... – Видение не отпускало – то и дело оживая в памяти, мерзкая картина сотрясала Петра Алексеевича брезгливой дрожью, как бывает, когда вспоминаешь вдруг какой-нибудь стыдный поступок. – Что же теперь? Как жить с этим?

– А ня как. Как жили, так и будете. Уж проверено.

– Нет, – мрачно наполнил рюмки Пётр Алексеевич, – как прежде не получится.

– А получится, – весело махнул рукой Пал Палыч. – Очень даже получится – ня сомневайтесь. Он, ваш-то, вокруг пальца так вас обвертит – даже ня заметите.

– Ну уж нет. Теперь замечу. – И Пётр Алексеевич вновь налил водки в свою опустевшую рюмку.

Утром в окно вразнобой барабанили капли дождя. Пётр Алексеевич потянулся в чистой, накануне застеленной Ниной постели, и почувствовал в голове шум. Вторую бутылку вчера можно было и не допивать. Тем более что Пал Палыч деликатно рюмку поднимал, но отхлёбывал малость, так что, считай, Пётр Алексеевич убрал водку в одно жало. С чего бы это? Внезапно мурашки пробежали у него по голове, прокладывая тропы меж корней волос. И тут Пётр Алексеевич всё вспомнил. Вспомнил, и жизнь внутри него оцепенела.

Что это было? Разве такое возможно? Он схватил предусмотрительно поставленную возле постели бутылку с водой и влил в пересохшее горло добрую половину. Откинувшись на подушку, Пётр Алексеевич лежал, примеряясь к грузу нового знания, опустившегося гнётом на всё его тело, и моргал, пока левое ухо его не наполнилось гулким звоном. Звон погулял внутри головы, заглушая все прочие звуки, разгоняя имеющие форму сомнений мысли, и схлынул. Ну конечно – внушение, суггестия, магнетизм... Именно невесть откуда взявшаяся в сознании Петра Алексеевича «суггестия» – похожее на быструю сороконожку слово – и решила дело. Ай, Пал Палыч! Ай, шельма! Он, небось, и на зверя морок наводит, так что дичь сама под выстрел идёт. Вот бестия! Видит – гость во хмелю, так решил натянуть ему нос! И ведь одурачил! Ловко! Спросить бы надо, что там было, в банке? Что за хомячки? Или... Нет, не стоит. Пусть думает, что фокус удался.

Пётр Алексеевич улыбнулся, довольный тем, что не повёлся простодушно на обман. Впереди его ждал долгий и приятный день, полный новых впечатлений. Утихнет дождь, и они с Пал Палычем, как договаривались, поедут на Михалкинское озеро. Там Пал Палыч возьмёт у знакомого старовера лодку, и они, меняясь на вёслах, будут бить дноющую утку на подъёме...

За окном послышалась возня и радостное собачье повизгивание. Пётр Алексеевич встал с дивана в гостиной, где хозяйева устроили ему постель, надел штаны-распятьнёнку, накинул рубашку и выглянул в окно. С тяжёлого низкого неба хлестала тугая вода. Ничего – сильный дождь не бывает долгим. Во дворе завёрнутый в плащ Пал Палыч кормил собак. Две серовато-жёлтые лайки склонились под навесом над мисками. Чёрный с белой грудью Гарун, щёлкая пастью, будто ловил муху, кусал дождь. Дождь ускользал. Гарун огорчился и лаял.

## Плотина

Истерзав зубную щётку, Пётр Алексеевич зашёл в кухню. Нина уже хлопотала у плиты, перемешивая половником в большом закопчённом чугуне корм скотине. Вокруг неё, задрав хвост, кругами ходила рыжая Рыська. Проснулся и хозяин. Сначала из-за печи показался его нос, – здесь, в закутке за печью, на тёплых кирпичах лежанки Пал Палыч нередко ночевал, набегавшись по лесу или промёрзнув на озере, – понемногу нос прибывал, увеличивался в размерах, и наконец Пал Палыч предстал целиком, в футболке и кальсонах. Прижав локти к бокам, он повёл плечами – в организме его что-то хрустнуло.

Пока хозяин раскошегаривал в котельной деревянной котёл, а хозяйка задавала фураж поросятам, Пётр Алексеевич рассматривал зелёное убранство кухни. С мая по октябрь в цветнике перед домом и вдоль дорожек во дворе стараниями Нины, сменяя друг друга, пестрили мышинный гиацинт, лапчатка, флоксы, клематисы, розы, живучка, нивяник, циния, ухватистая ипомея, георгины, гладиолусы, мохнатые хризантемы и чёрт знает что ещё. Не довольствуясь милостью природы, благосклонной к северной зелени от силы полгода, в доме Нина тоже насаждала декоративную флору: повсюду на подоконниках – цветы и жирные суккуленты в горшках, по углам гостиной – деревья и папоротник в кадках, а в кухне под потолком по натянутым струнам полз многометровый тропический выюн. Имён экзотической зелени Нина не помнила – звала каждую хворостину по-свойски. Так диковинный папоротник в гостиной стал павлином, драцена – лохматиком, а выюн – ползушкой.

Появившись в кухне, Пал Палыч – теперь на нём были соответствующие случаю штаны – сообщил:

– Что-то кости ломит. – Влажные белёсые волосы на его голове ершились, растрёпанные полотенцем. Пригладив их пятернёй, он задрал футболку и почесал плоский живот. – И пузо шкрябётся.

Садясь вслед за Пал Палычем за накрытый к завтраку стол, Пётр Алексеевич улыбался. Хозяин, пусть иной раз и жаловался на здоровье, со всей очевидностью относился к числу тех осуждённых на плаху, чей приговор не спешат приводить в исполнение, бесконечно откладывая роковые сроки. Более того, не вызывало сомнений, что он непременно будет помилован и проживёт ещё долгие счастливые дни, на которые, возможно, и сам не рассчитывал.

«И всё здесь этак, – извлёк из головы мысль Пётр Алексеевич. – Жизнь разгоняется, хочет обскакать само время – её уже не отличить от телевизора с его опустошающим мельканием, – а здесь как будто бы ещё не запрягали...» Однако он тут же понял, что сам с мыслью поспешил – перемены растеклись по всем щелям, – не так давно Пал Палыч рассказывал о местных цыганах: вчера они топили сахар и отливали петушков на палочке, а нынче на электронных весах фасуют героин.

На завтрак Нина приготовила пшённую кашу и глазунью с салом. Как бы на выбор, хотя не возбранялось, подобно Пал Палычу, положить себе в тарелку сразу то и это. Тут же на столе – нарезанные камамбер, холодного копчения клыкач и сыровяленая колбаса, привезённые Петром Алексеевичем в качестве гостинцев. Как всегда в этом хлебосольном доме – всё с избытком.

– У нас раньше как? – говорил Пал Палыч, продолжая начатый ещё вчера сумбурный краеведческий обзор. – В каждом сале свой праздник гуляли – там Покров, тут Вознясение. На какой престольный царкву святили, тот день, значит, и главное на приходе вяселье. В ином месте, бывало, ня то что праздник – целая ярмарка. Вот и ходили люди из деревни в деревню: парни – девок поглядеть, большаки – погулять да погостить. А у материной родни Сдвижанье сбрызгивали – это конец сентября, когда змеи пярэд зимой друг к дружке в клубок сдвигаются...



– Балаболишь всё. – В кухню вошла Нина – случай добродушно пожурить мужа она не упускала. – Сказал тоже – Сдвижанье... Ёперный театр! Креста Воздвижанье. Ня язык – помело. Пяред людѣм стыдно.

– Вот помру, – сообщил Пал Палыч, – останешься одна, как в жопе дырочка, тогда начнёшь меня добром поминать и прощенье просить. Но я ня прощу, ня надейся. Жалей живого, а ня мёртвого – мёртвого жалеть ня надо, мёртвого надо помнить.

– Ой, прямо сердце затёпалось. Помрёт он... Типун на язык, – махнула рукой Нина. – Только и знаешь, что им трэхать – чисто помело.

– Что ни скажу, – уплетая клыкача на хлебе, пожаловался Петру Алексеевичу Пал Палыч, – всё буду пяред ней как вша пяред соколѣм.

– Так и есть. – Погружённая в мелкие хозяйственные хлопоты, за стол Нина не садилась. – Старый балабол.

– Видали, шишка-крутышка! Может, и старый, да в кулак ня храплю. – В глазах Пал Палыча блеснул азарт. – Чарна зямля, да на ней хлеб сеют, бел снег, да на нём собаки серют.

Нина в карман за словом не полезла:

– Вот тоже ухарь! Ёперный театр! Дорогой подарочек! Да такой товар в базарный день – за пятачок большой пучок! Здоров, как борѣв, а и глуп, что пуп.

Пётр Алексеевич едва сдерживался, чтобы не прыснуть в тарелку, – кусочек сала тихо хрюкал у него во рту.

Октябрь подходил к концу. Утки из прудов, канав и мочил ушли на озёра, где сбились в стада и ожидали первых заморозков – тогда всё живое и трепещущее замрёт, впадёт в тихий обморок (а то, что не замрёт и не впадёт, обретёт удивлённый, удручённый или скорбный вид), и они наконец осознают утрату рая, который и людям и зверям открывается лишь в обстоятельствах потерянности, – осознают и полетят на юг, в надежде отыскать пропажу. Но заморозков всё не было – остатки бурых листьев тут и там сухо шуршали на деревьях, грибы в лесу стояли крепкие, не *склякxились*, однако бобр уже перелинял, и шкура у него была, как говорил Пал Палыч, *гожая* – можно брать. На бобра он нынче Петра Алексеевича и пригласил. То есть само собой и пернатых по озёрам можно погонять на вечерке, да вот только не видать что-то ни серого гуся, ни северной утки – октябрь стоял мягкий, душевный, а гусь, когда летит клином, на озеро лишь в холодную ночь садится – в тёплую разве из-под облаков покличет. Есть, конечно, на озере местная утка, но её в вечернюю зорьку на перелёте будет не густо.

Каждый ухаб капканы в багажнике приветствовали металлическим брюзжанием. Не доезжая Тайлова Пал Палыч показал отворот с просёлка, и Пётр Алексеевич вывел машину на едва приметную лесную дорогу. Недолго проехав по гребню пологого, вытянутого валом холма, решили остановиться – дорога здесь почти терялась в зарослях наступающего с двух сторон молодого осинника. Дальше, закинув за плечи рюкзаки и ружья, пошли пешком.

Сразу за лесом начинался широкий луг, покрытый рослой жёлто-бурой осокой и пожухлыми мётлами лабазника. Между вершинами сухих трав тут и там были перекинута невесомые осенние паутинки. Скоро вышли к извию небольшой речки, Старой Лысты, по высокому берегу которой тянулись кусты лозы, а напротив, по низкому, стояло сырое чернолесье: ольха, осина, берёза, ивняк – всё вперемешку.

Пошли вдоль берега, петляя между кустов. В небе над лугом и рекой закладывал круги ястреб. Пётр Алексеевич засмотрелся: ястреб – лесная птица, на просторе увидишь не часто.

– Тут, Пётр Ляксеич, осторожно, – предупредил шагавший впереди Пал Палыч. – Бобры лозу режут, а у зямли сук острый остаётся – ровно шип. Сапог враз пропорете.

Пётр Алексеевич бдительно посмотрел под ноги – действительно, по краям кустов из земли, точно колья в волчьей яме, торчали останки срезанных ивовых веток.

За очередным поворотом речки показалась бобровая плотина – низкий берег за ней был подтоплен, чахлые деревца стояли прямо в воде. Как рассказывал накануне Пал Палыч, главный, помимо охотника, враг у бобра – волк, медведь, рысь, лиса; на суше бобр неуклюж, зато по воде легко уйдёт от любого преследователя, да и зимой в спячку не впадает, шерудит, хрустит запасёнными ветками. За тем и плотина – безопасный доступ к корму по речному разливу и гарантия глубины русла, чтобы река, чего доброго, не промёрзла до дна, потому как выходы из нор и хаток у бобров устроены под водой.

Внезапно из прибрежной травы, едва не из-под ног Пал Палыча, вытягивая изумрудную шею и торопливо хлопая крыльями, взвился неведомо как очутившийся тут одинокий селезень. Набирая высоту, он пошёл к чернолесью. Ястреб тут же сорвался с неба наперерез добыче, но Пал Палыч оказался проворней – двумя выстрелами сбил утку, и та комом рухнула в запруженный ольшаник. Ястреб, однако, не убоившись ружейного грома, устремился за ней следом.

– Вот бес! – Пал Палыч подтянул болотники и, побрякивая капканами в рюкзаке, поспешил по плотине на тот берег Старой Льсты отбивать у разбойника трофей.

Вскоре над кронами деревьев, размашисто орудуя рябыми махалками, взмыл к небу оставшийся без поживы ястреб. Должно быть, это он загнал сюда отбитого от стаи селезня, а теперь Пал Палыч лишил его заслуженной трапезы.

Вода под плотиной стояла ниже на полметра. Пётр Алексеевич тоже подтянул болотники и ступил на скреплённые землёй и илом ветки – сооружение оказалось надёжным и, слегка пружиня, держало его вес. Некоторые ветки дали корни и побеги, желая укрепиться здесь навсегда. Бобровая постройка тянулась метров на двадцать; Пётр Алексеевич не успел дойти и до середины, как на другом краю появился Пал Палыч с селезнем в руках. Подвесив рюкзак на сук осины, некогда росшей на берегу, а теперь оказавшейся в запруде, он развязал горловину, достал пару капканов, а утку бросил в объёмистые недра. На тот же сук повесил и ружьё.

– Хороший селезень, – доложил Пал Палыч, – нагулянный, жирный – кожа под пяром жёлтая, что топлёное масло.

С этими словами он принялся разбрасывать сапогом ветки, пробивать и протаптывать в плотине брешь, куда вскоре с шипением устремилась вода.

– Помогайте, Пётр Ляксеич, а я капканы насторожу.

Повесив и своё ружьё на осину, Пётр Алексеевич бодро принялся за дело. Пал Палыч тем временем ловко насторожил два капкана, навязав на затворные крючки паутинку из капроновой нити, аккуратно положил их на плотину и стал выгребать и вытаптывать ещё одну пробину – метрах в семи от первой. Затем на дне перед сделанными брешами осторожно, чтобы невзначай не коснуться нитей, установил взведённые железные клещи, обмотав прикреплённые к ним металлические тросики один вокруг давешней осины, другой вокруг торчащей из плотины коряги.

– Как сойдёт вода, – пояснил Пал Палыч свои манипуляции, – бобры, чтоб ход в нору не обнажился, придут чинить запруду. Авось кого и прищемит.

Обратно шли тем же путём. Возле погрызенных кустов лозы Пал Палыч выбрал место со свежими срезами и белыми, но не до конца ещё обглоданными от коры сучьями, спустился к воде и поставил перед отчётливо заметным в прибрежной траве бобровым лазом еще один капкан. Чтобы было куда навязать тросик – без того зверь уйдёт вместе с капканом, – пришлось вбить кол, тут же вырубленный в лозняке.

– Летом бобры возле запруды не сидят, по всей реке разбредаются, – говорил Пал Палыч, продираясь сквозь сухую луговую траву. – Тогда капканы больше на лазах ставлю. Лучше, где осина только-только свалена или сук лозы добела не весь ещё погрызен. Там в воду – капкан, а на берегу на ветку бобровую струю вешаю. Они струёй участок метят – если учуют чужого, враз идут разбираться.

– Так летом шкура ж не товарная, – удивился Пётр Алексеевич.

– А ня для шкуры. С них летом – мясо и струя. Она ж цалёбная – двадцать пять рублей за грамм.

– Ого!

– За шку́рину столько ня возьми́шь.

– А мясо как? На что похоже?

– А он как заяц. Только водяной. То же питание.

– Небось, лицензию на бобра не берёте. – Уверенный в ответе, Пётр Алексеевич скорее утверждал, чем спрашивал.

Раздвигая грудью высокую осоку, Пал Палыч рассмеялся:

– Скажете тоже, Пётр Ляксеич, лицензию...

– А охотовед застывает?

– На всё воля Божья, – озорно откликнулся Пал Палыч.

Пётр Алексеевич такую первобытную беспечность не одобрял:

– Воля Божья – суд царёв.

– Да кто ж нас осудит? Мы же голуби.

На Селецком озере у Пал Палыча стояли сети. Озеро было большое, со сложным рисунком берегов, как бы разделённое на несколько вольных пространств – каждое со своими заливами, загубинами и камышовыми островками, – соединённых между собой протоками и неприметными проходами в густых зарослях тросты. По разным концам озера расположились несколько деревень, но между собой рыбаки ладили – места хватало всем. На тайловском берегу под присмотром приятеля, медвежатого Володи, Пал Палыч держал лодку-плоскодонку.

Пётр Алексеевич, бросив на нос лодки ружьё и поставив между ног прихваченное из багажника ведро, сел на вёсла. Пал Палыч по колено в чёрной илистой жиже вывел лодку подальше от болотистого берега, заскочил на корму и, орудуя шестом в помощь Петру Алексеевичу, вытолкал плоскодонку с заросшего ершистой подводной травой мелководья на глубину.

– А вот ещё был случай, – усевшись на корму и положив на колени винчестер, сообщил Пал Палыч. – Тому лет тридцать уже или около... Левым веслом сильнее бярите, Пётр Ляксеич. – Пал Палыч вытянул руку, указывая, где именно находится левое весло. – В Великих Луках чествовали ветярана, и нас по областному указанию каким-то боком к тому делу прилепили, хотя где мы и где те Луки. Решили мы тогда от нашего охотхозяйства вручить ему медвежью шкуру. Хрипатов Ромка без лицензии медведя взял, а наш охотовед тогдашний – дельный мужик – шкуру у него изьял, но делу ход ня дал – мол, самооборона, всё такое. Шкура хорошая – ковёр ковром. Хочешь – на пол, хочешь – на стену, а хочешь – на лавку. Милое дело. – Пал Палыч снова вытянул руку, уже без слов указывая, каким веслом Петру Алексеевичу следует орудовать сильнее. – Приехали мы в Великие Луки – зал, сцена, стол под кумачом, а у трибуны – подставочка. Ветяран-то хромый – одна нога другой короче. Тузы речей наговорили, мы шкуру вручили, а потом – застолье. Хорошо в Великих Луках угощали. За полночь уже домой вярнулись. Смотрим, а шкура-то в багажнике у охотоведа так и лежит.

– Как это? – Пётр Алексеевич запутался веслом в скользких косах зеленовато-жёлтой тины. – Что ж вы ветерану вручили?

– Её самую и вручили.

– А что в багажнике?

– Она. – Пал Палыч мотнул головой под негромкий хохоток. – Потом мы её ещё чатыре раза заслуженным товарищам дарили – на пятый только хозяина признала.

На глади озера, то выходя из облака, то пропадая, играло солнце. Дунул прохладный ветер, подняв небольшую рябь и завернув тут и там листья кувшинок, потом притих. Лодка шла к стене камыша.

– Вон туда грабьте, – указал Пал Палыч, и Пётр Алексеевич оглянулся в направлении вытянутой руки. – Там проход в тросте. Видите?

Пётр Алексеевич увидел.

Когда плоскодонка вписалась в узкий проход среди камышовых зарослей, Пал Палыч встал и, опираясь о борт, вышел из лодки. Глубина здесь была чуть выше колена.

– Сходите, Пётр Ляксеич, – скомандовал Пал Палыч. – Там закол будет, на руках лодку проведём.

Камыш стоял почти вплотную к бортам – вёслами толком не махнёшь, разве только шестом тыркать. Нашупав ногой топкое дно, Пётр Алексеевич вылез из качающейся лодки. Вдвоём они повели плоскодонку по проходу – Пал Палыч тянул за нос, Пётр Алексеевич толкал с кормы. За старым заколом, проходя который посудина проскребла бортами по вбитым двумя рядами в дно склизким столбикам (между ними догнивали плотно уложенные прутья лозы), камыш редел и проход расширялся. Вновь забравшись в лодку, вышли на чистую воду к торчащей неподалёку жердине: от неё тянулся пунктир поплавок, едва заметных на взблескивающей ряби – опять дыхнул студёный ветерок.

– Хотел профессору историю стравить, да случай всё ня подходил. – Пал Палыч, сидя боком на корме, поднимал из воды фрагмент сети, встряхивал, освобождая от нанесённых за ночь ветром водорослей, отцеплял засевшую в ячейх рыбу и бросал в ведро у ног Петра Алексеевича, потом вытягивал следующий. – Грабьте потише, а то ня успеваю.

– А вы мне расскажите. – Пётр Алексеевич, подгребая против ветра и стараясь не зацепить веслом сетку, удерживал лодку на месте.

– Я тогда в техникуме учился, в Себяже. Преподаватель по математике у нас – женщина. Лет на семь, должно, всего и старше. Красивая такая – маленькая, кругленькая, в очках. Мой друг Мишка Кудрявцев – мы с им с одной группы были – и говорит: Паш, а она ничего, ты как – стал бы? А я ему честно: знаешь, Миш, просить ня буду, но если дала бы, я б ня отказался. – Пал Палыч негромко, но заразительно рассмеялся. – Учимся, значит. Первый курс прошёл. На втором курсе где-то после Нового года, к вясны ближе, на уроке спрашивает домашнее задание. Одного спрашивает – ня знает, другого спрашивает – ня знает. Вызывает отличницу – отличница ня знает. Красивая наша разозлилась, вляпила три двойки: всем, говорит, приготовить домашнее задание – проверю, у кого ня сделано, всем двойки поставлю. Ёлки-моталки, а в тот день ня сделал я домашнее задание – бегал на соревнованиях. А она по рядам ходит – два, два, два... Ко мне подошла – у меня ня сделано. Я говорю: ня ставьте мне двойку, я за весь учебный период один раз домашнее задание ня сделал – и то на соревнованиях был, по бегу соревновался.

В ведре, разбрызгивая зачерпнутую из-за борта для рыбьего жизнеобеспечения воду, уже бились два толстохвостых линя, краснопёрка и щука.

– А она? – Пётр Алексеевич следил за ловкими руками Пал Палыча, слегка покрасневшими от октябрьской воды.

– Нет, говорит, поставлю. И так мне обидно сделалось, что разозлился. Если, говорю, легче будет, поставьте и вторую в одну клеточку. А она тоже вся от злости искрит – поставлю, говорит. Потом сразу домашнее задание закрыла и новую тему рассказала. Мне тема была ня сложная, но я обиделся. Она мне: иди к доске. А я уже на принцип – ня знаю, говорю. Она: я тябе сказала – к доске. Я думаю: что я залупаюсь? Пошёл. Она: пиши. Пишу примеры. Она: решай. Ну, говорю, я же сказал – ня знаю. Садись, два. И вкатила мне вторую двойку в ту же клеточку. Ну, всё, думаю, унижаться ня буду – ня стану исправлять, раз она такая злая.

– И что?

– После она меня ещё вызывала и всё на двойки сводила. Потом вясной, в мае уже, за десятый класс предметы закрываем, чтобы пяреходить на специальные – зоотехника и всё

такое. Уроки кончились, я было уже домой собравши, а тут нам с Мишкой полы мыть – график. Каждый день по два человека после занятий в своём классе полы мыли. Так заведёно было.

В ведро полетела ещё одна щука – тут Пал Палыч помучился, выпутывая из сети глубоко засевшую и зацепившуюся жабрами добычу.

– Моем мы с Мишкой пол, а в тот день как раз журнал оценок никто ня взял в учительскую. Почему – ня знаю. Я скорей смотреть. По математике и правда – в одной клеточке две двойки и ещё две-три потом. Штук, словом, пять. А по остальным... Гляжу по физике – одна четвёрка, остальные пятёрки. И по другим так же. Ну, думаю, коза, я тябе покажу! И с этого дня, вот как полы мыл, я по физике – никаких пропусков. А их и так не было. Все лабораторные до экзамена – сплошные пятёрки. Экзамен по физике – билет тащу, отвечаю. Преподаватель говорит: по билету у тебя пять. Лабораторные смотрит – пять. Посещение смотрит – стопроцентное. Выпускная – законная пятёрка. Иди, говорит. Я пошёл. Чарез два дня – экзамен по математике, а у меня хвосты. Было ж как – экзамен ня сдашь, пока все зачёты ня получишь и все двойки ня исправишь. А тут мне сразу – иди экзамен сдавай. Я: а как же хвосты? А ня колышет – иди, ты допущен. Ага, думаю, коза, допустила... Прихожу на экзамен – все сдали, я последний. Бяру билет, кладу зачётку, сажусь. Первый вопрос знаю, второй знаю, третий – нет. Ну, думаю, два вопроса отвечу влёгкую – тройка есть. А они, преподаватели, любили, чтобы ты писал. Чтобы листок тябе, ручка и – шкряби. А я ня любил писать, так сижую. Пяредо мной как раз девчонка отвечает и запуталась, ня в понятии. Я подсказать хочу, да никак ня подсказежь. Математичка видит, что я ня пишу, думает, что ничего ня знаю, говорит: помогай. Я из-за парты встаю и говорю: так, так и так. Она: садись. Та девчонка опять отвечает и опять ня знает. Мне – помогай. Я опять ответил. Садись. Потом третий раз помочь просит. Я третий раз ответил. Девчонке поставила три, меня вызывает к столу. Подхожу, она бярёт зачётку, ставит три. Ложи, говорит, билет. Я ложу. Иди. Вот так, даже по билету спрашивать ня стала.

Пал Палыч просмотрел сеть до конца, расправил край, подтянул и бросил в воду.

– Пётр Ляксеич, туда тяперь давайте, от того мыска у меня ещё сетка поставлена.

– А зачем вы, Пал Палыч, это профессору хотели рассказать? – разворачивая лодку носом к камышовому мыску, спросил Пётр Алексеевич.

– Как зачем? А на заметку. Тут же – педагогика.

– Да? – почесал лоб Пётр Алексеевич. – Глубоковато для меня – в толк не возьму.

– А проще некуда. Если дала б она в начале – я б у ней на пятёрки учился.

Ветер стих, вода безмятежно всплескивала под веслом. Солнце, вырвавшееся из облачного заточения, залило озёрную ширь и, не грея, высверкивало в каждой капле так, что слепли глаза.

– Хорошо... – блаженно сощурился Пал Палыч. – Что, Пётр Ляксеич, для меня счастье? А вот это – озеро, лес, река, маленькая рюмочка да со своим человеком покалякать.

– И всё?

Пал Палыч сквозь прищур внимательно посмотрел на Пётра Алексеевича.

– Вы, что ли, Пётр Ляксеич, об этом... Так вот что я скажу: для бабы завсегда главное – любовь, а для нас, мужиков, – волюшка и справедливость.

– А если выбирать? – не отцеплялся Пётр Алексеевич. – Если ребром встанет: или то, или другое?

– Тогда известно, – Пал Палыч, не имея власти изменить ход вещей, развёл руками, – если выбирать, так мы за волю.

Неожиданно для себя Пётр Алексеевич молитвенно подумал: «Да пребудет с вами, Пал Палыч, благословение тех сил, которые уже подарили вам такую жизнь и такую судьбу».

За всё время, пока проверяли четыре сетки и гребли обратно, под выстрел не взлетела ни одна утка – пуганые стада сидели вдалеке на безопасной глади. Подставлялись только лебеди – их за грациозность тут жалели, а они пользовались и дразнили.

Понемногу холодало. Когда подъехали к дому, небо уже окончательно расчистилось и просияло – температура упала градуса на три. Ночью вполне могло и приморозить.

На крыльце Пал Палыча и Петра Алексеевича встретила Нина – глаза её были мокры. Оказалось, пока они таскались с бобровой плотины на озеро и там смотрели сети, ястреб утащил Пятнушку. Во дворе среди Нининых клумб вечно болталось несколько прикормленных сердобольной хозяйкой не то приبلудных, не то соседских кошек. В дом допускалась только одна любимица – рыжая Рыська, остальным дорога туда была Пал Палычем заказана, но Нина настояла, чтобы в холода и непогоду кошкам разрешалось заходить в котельную и в подпол. Состояла в этой дворовой банде и полугодовалая кошечка Пятнушка – бесстыжая попрошайка, пушистым хвостом и белым пятном на мордочке проложившая дорогу к чувствительному Нининому сердцу.

Далеко ястреб Пятнушку не уволок, расклевал тут же, на огороде, прямо на чёрном картофельном поле. Нина качала воду в баню, а когда увидела пирующего разбойника, от кошки уже оставались кровавые ошмётки. Их Пал Палычу было велено предать земле за сараем.

– Ну что с им делать? – взяв лопату, воззвал невесть к кому Пал Палыч. – Мы у него – утку, он у нас – кошку. Вишь, как хитро в природе... – Он обернулся к Петру Алексеевичу. – На той няделе я у него вяхиря забрал – он в лесу пряследовал, а я ствол поднял – бух! – и мой вяхирь. Так он в тот же день у нас курёнка утащил, шельмец.

Церемония похорон много времени не заняла, но Нина до вечера оставалась мрачной и неразговорчивой.

После на скорую руку перекусили, и Пал Палыч отправился топить баню. Пока та калилась и настаивалась, прикидывали, не съездить ли на вечерку в Михалкино – там можно взять лодку у рыжего старовера Андрея, – авось на Михалкинском озере богаче будет утки, а то и сядет подкормиться гусь. Разумеется, речь шла о вечерке завтрашней – кто ж после бани двинет на охоту? Только деляга и прохвост.

Жар был что надо – жгло нос и ломило зубы, – парились долго, в три захода и в два веника. Когда вышли из бани, на дворе уже темнело.

Нина тем временем пожарила рыбу и накрыла к ужину стол, а как мужчины вернулись в дом, с траурным лицом отправилась им на смену. Сказала, чтобы её не ждали – сыта.

– Мы, Пётр Ляксеич, на природной еде – и здоровы, – указал на стол, как на наглядное пособие, распаренный Пал Палыч. – Мясо, рыба, картошка, сало, яйца, овощи, грибы, заготовки разные – всё своё. Или из леса да озера. А кто на товарную еду перяйдёт, тот сразу хворый делается – сила уходит. Замечано... – Пал Палыч задумался в поисках подходящего примера. – Да хоть бы по детя́м и внукам. Приезжают хвилье, а как на нашем-то подкормятся – другое дело. – На лице Пал Палыча выступил банный пот, и он утёр его рукавом рубашки. – Про вятеринарию поздно понял – ня моё. Мне бы в охотоведы. Запах этот от сумки вятеринарной... Коровий послед, слизь эта... За ноздри корову дяржать... Терпеть ня мог. А кабана разделать – я ня брезгую, чисто всё будет, аккуратно. Это мясо – есть-то надо. Кролика забить? Жалко, а что делать. Ня стану – внуки будут расти на полуфабрикатах, на химии этой. А мне хочется, чтоб росли здоровы, чтоб со стоячим, чтоб им любую девку обнять и обласкать, чтоб продолжался род. Об этом забота.

Пока Пётр Алексеевич открывал привезённую с собой бутылку и разливал в рюмки водку, хозяин свёл разговор с даров земли и леса на подрастающих внуков.

– Разные оба – небо и вода. Вот линь да карась – им надо, чтобы погрязней, они и там. А на чистой воде им ня очень, ня уютно чувствуют – там уклея да голавль. Так и человек. Тёма, старший, ближе к технике – мопед, компьютер, а Максим к музыке – пианина электрическая ему куплена. Но оба – баре: подай это, подай то. Брызгливые – ты ложкой чайной посластил чай в стакане, они её уж ня возьмут. А что ей в кипятке – какая разни́ца? Глупости. У нас

этот номер ня особо проходит: ня бярёшь – мой сам. И ведь пойдёт, помое... – Пал Палыч вздохнул, беря со стола рюмку. – Ня то мы прожили, когда детьми были: с одной чашки ели суп, второе – всё. Семь детей – посуды же ня напасёшься. И ня дай бог – пока батька ня помолится, ня вздумай ложку взять. А ня втерпеть – есть хочется. Только ложкой туда – батька своей тябе в лобешник... А мамка садилась последняя – вот как было.

Чокнулись и выпили. Кладя себе на тарелку сладкого линия, Пал Палыч снова вернулся к теме здорового чревоугодия.

– Мы детьм и мясо, и рыбу, и картошку свою в город даём. Так они ня очень, привыкли к товарному – заевши. Крольчатина им уже ня нравится – ня надо им, вишь, кроликов. И лещ со щукой – больно костлявы. И дичину ня берут – утку, там, тетярева – жёстко им. А свинина годится и кабан тоже – этих только дай. – Порицая привередливые городские вкусы, хозяин недовольно наморщил лоб. – А наша-то свинина – ня то что с магазина, другое качество. Вот мне сваты рассказывали случай. Они, сваты, с Опочки, а дело при великолукском мясокомбинате было. Тётка там одна на свиноферме работала, знакомая им. А у них как? Кто при ферме, тем своих животных держать няльзя, чтобы ня занести заразу – ящур, чуму африканскую или чего там. А она держала – поросёнок был у ней. И как-то изловчилась с фермы утянуть мяшок добавки. Ну, слышали, наверно – на фермах свиньям в корм добавки сыпят. Она ня знала, что им ня одну дают, а комплекс – взяла, что увидала. И стала той добавкой поросёнка-то подкармливать. Он и пошёл у ней расти, как на дрожжах – мясо так его и раздувает. Всё рос и рос, покуда на нём, на живом прямо, шкура ня лопнула. – Пал Палыч свёл и развёл над столом ладони, показывая, как лопнула на поросёнке шкура. – Кровя-то, говорили, так и брызнула. Для шкуры своя, оказывается, добавка полагается, чтоб эластичность повышалась, а у ней вона...

– А кто у вас сваты? – полюбопытствовал Пётр Алексеевич.

– Хорошие сваты. Он уж на пенсии, а сватья – музейный работник. По краеведению. Статьи пишет – давала Нине поглядеть. Название ещё такое... О роли полотенца в будни и в праздники. Вроде того. Что говорить – хорошие сваты, – для убедительности повторил Пал Палыч. – На свадьбу дятей столько гостей назвали – оливье готовили в бетономешалке.

Пётр Алексеевич наполнил рюмки.

– Я про свинью-то, чтоб понятно было, какое оно в магазине – мясо. – Пал Палыч неторопливо разбирал вилкой линия. – А этим – кролик уже ня то. Такие стали дети – перяборчивые. А мálьцы ничего ещё, едят у нас, что дадут. Их Нина по этой части балует – каких рахатлукумов только ня придумает. Вон сколько припáсено.

Пал Палыч поднялся со стула, распахнул дверцу морозильной камеры и выдвинул один из пластиковых ящиков. Он доверху был набит пакетами со свежемороженой зеленью – ледяная петрушка, укроп, стрелки лука.

– Ня то, – задвинул Пал Палыч ящик обратно и выдвинул другой.

В этом, распределённые по прозрачным контейнерам, лежали давленная с сахаром клубника – домашний сорбет – и заledenелая, подёрнутая кристальной белизной малина – рассыпчатая, ягодка к ягодке. Чтобы добиться такого сказочного вида, её Нина, похоже, морозила разложенной на доске поштучно, как пельмени.

Утром, выглянув в окно, Пётр Алексеевич обнаружил, что мир, точно Нинина малина, сплошь покрыт искристо-белым инеем – и деревья, и провода, и шиферная крыша сарая, и местами пожухлая, а местами под изморозью ещё зелёная трава. Только чёрная земля на огороде заиндевила выборочно – пятнами. Часа два-три – и эта красота исчезнет. Пётр Алексеевич ощутил в себе неопишное чувство – поэтическое ожидание зимы. Такой зимы, какая представляется в рождественских фантазиях – белой, пушистой, покато́й, с кружащимися в воздухе хлопьями. Он вспомнил, как однажды рассуждал про снег его приятель Иванюта – поэт, заве-

дующий складом при типографии Русского географического общества, где Пётр Алексеевич занимал должность главного технолога. Иванюта говорил, что снег – это не напасть, не падение в испуг, беспмятство и пустоту. Снег – это мириады и мириады маленьких штучек, которые похожи на звёзды – у них есть центр, ось симметрии и лучи. Они, представь себе, сияют! Из них можно вылепить бабу. Они хрустят под ногами, как огурцы. Рождённые нулём, они умирают на ресницах. Они располагают к холодной водке и горячему огню. Под ними можно про-спать до весны. Говорят, они убили динозавров. Они – на самом краю видимого мира, но их подлинность не вызывает сомнения...



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.